М-341

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Орган правления союза советских писателей СССР. Выходит под редакцией В. Вишневского, А. Кулагина, В. Лебедева-Кумача, М. Лифшица, Е. Петрова, Н. Погодина, А. Фадеева.

С-162748

№ 63 (914) Вторник, 31 декабря 1940 г. Цена 30 коп.

Ленинградская Библиотека

Год сорок первый

Над притихшей Москвой плывут мерные, торжественные, как поступь истории, удары колокола. Бьют кремлевские куранты...

Еще один, двенадцатый, удар — и невидимая граница времени останется позади. Начнется новый год...

Много раз мы отсчитывали сигналы со Спасской башни. Сегодня мы будем их слушать, заново переживая события, ставшие неотъемлемой частью нашего общего дела, нашей личной жизни. Вместе со старым годом мы провожаем великие тридцатые годы двадцатого века...

Вспомним их, провозглашая новогодний тост! Вспомним героические дни, когда рождались первенцы нашей индустрии! Вспомним, как крестьянство запахивало межи первыми тракторами! Вспомним ударников многочисленных новостроек и мужественных политотдельцев, шедших в авангарде всеобщего наступления социализма!

Все это было в начале десятилетия. Величественной прелюдией к нему прозвучали сталинские слова, произнесенные с трибуны XVI партс'езда: «...Мы находимся накануне превращения из страны **аграрной** в страну **индустриальную**». Слова Сталина ярким светом озарили путь народам Советского Союза, путь трудный, неизведанный, полный испытаний, но единственно правильный, единственно счастливый.

Революции предстояло разрешить один из коренных вопросов строительства новой жизни: сомкнуть на социалистической основе индустрию и сельское хозяйство, уничтожить внутри страны последние источники реставрации капитализма.

Вспомним теперь незабываемые дни января тысяча девятьсот тридцать четвертого года! Семнадцатый с'езд партии. Снова на трибуне Сталин — гениальный полководец, подводящий итоги выигранного сражения и намечающий план дальнейшего продвижения вперед. Итоги грандиозны. Пролетарская революция разрешила самую трудную после завоевания власти проблему: деревня стала социалистической. Страна преобразилась, сбросила одежды патриархальщины и средневековья, заняла одно из первых мест в ряду сильнейших индустриальных государств. Был совершен потрясающий основы старого мира переход из одного качественного состояния общества в другое, более высокое, более прогрессивное. Родилась новая общественная формация, не знающая классового гнета, в течение тысячелетий проклятием тяготевшего над трудящимися.

Прошло два года, и Сталин снова взошел на трибуну, чтобы на весь мир огласить акт победы социализма — Сталинскую Конституцию. Открылась новая полоса развития нашей родины, полоса завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода от первой ко второй фазе коммунизма.

Мы знаем: реальный ход событий не укладывается в условные рамки календаря. История шагает через рубежи веков и десятилетий, не задерживаясь на них ни на мгновенье. Но есть события, отделяющие одну эпоху от другой и остающиеся в летоисчислении, как вехи, обозначающие крутой поворот истории. Принятие Сталинской Конституции было вехой, которая дала современности новое направление. И если бы введение Конституции было единственным крупным событием десятилетия, то и этого было бы достаточно, чтобы назвать его величайшим десятилетием всемирной истории.

Победа социализма открыла перед народами СССР новые горизонты. Последние годы десятилетия прошли под знаком внутреннего укрепления социалистического государства и роста его влияния на мировую политику. Благодаря мощи своей обороны и мудрости внешней политики СССР вышел победителем из всех международных осложнений, отстоял политику мира и нейтралитета. Попытки врагов мира втравить нашу страну в войну, столкнуть ее с соседними государствами потерпели неудачу. И сейчас, когда в Европе, Азии и Африке пылают города и села, когда существование десятков народов и государств поставлено на карту, когда разрастающаяся империалистическая война грозит захлестнуть мертвой петлей все страны капитализма, — народы СССР, зорко оберегая границы родины, продолжают творить свое дело, занятые мирным трудом.

Успехи советской внешней политики тем более знаменательны, что они привели к расширению базы социализма. Потеснив капитализм, СССР продвинул свои границы на запад, обезопасил от нападения колыбель революции—город Ленина, включил в число своих новых граждан 23 миллиона человек.

Таковы общие итоги десятилетия.

Тысяча девятьсот сороковой год можно назвать годом интенсивного накопления культуры труда, организованности, годом решительной борьбы с расхлябанностью и тунеядством, усиленной учебы во всех областях нашей творческой деятельности. Социализм дал в руки трудящимся могучие средства преобразования жизни: технику, науку, искусство, литературу, все достижения человеческого разума, весь опыт предыдущих поколений; возвратил культуре ее истинное предназначение: облегчать и украшать жизнь человека, помогать ему побеждать природу. Среди многочисленных подарков, которые принес стране сороковой год, числится пуск станции подземной газификации угля в Донбассе — рядовой факт, если учесть, что мы строим «Большую Волгу», «Второе Баку», прорываем гигантские каналы, создаем новые моря. Между тем, как вырастает его принципиальное значение, если мы вспомним родословную смелого проекта использования угля под землей. Об этом мечтал гениальный Менделеев. Уйму труда вложил в техническую разработку проекта англичанин Рамсей. В их время это была утопия. Ленин предсказал осуществление этой идеи в социалистическом обществе. Усилиями советских техников положено начало практической реализации завета Ильича.

На XVIII с'езде ВКП(б) тов. Молотов говорил: «Надо использовать все, что дал капитализм и предшествующая история человечества, и из кирпичей, созданных трудом людей на протяжении многих веков, строить новое здание, — удобное для жизни народа, просторное, полное света и солнца».

Мы горды тем, что строим это светлое, просторное здание коммунизма.

Эпоха великих свершений и созидания нового мира поставила перед литературой почетную и ответственную задачу воспитания миллионов людей в духе коммунизма. Никогда у художников слова не было более высокой цели. Никогда не было у них такого простора для творчества, такой благодарной аудитории, как в наши дни. Слово писателя доступно теперь миллионам людей, приобщившимся грамоте благодаря революции. Вместе с под'емом культуры выросли вкусы советского читателя и зрителя, повысились его требования к идейному и художественному качеству произведений искусства и литературы. Он принял «Тихий Дон» и «Севастопольскую страду» и забраковал идейно фальшивую стряпню, появившуюся в драматургии, одобрил фильмы «Великий гражданин» и «Член правительства» и отверг чуждый ему «Закон жизни».

Высокая требовательность — признак глубокого уважения, какое питают народные массы к искусству. Народ-читатель хочет видеть полнинно художественное, правдивое изображение эпохи, которую он творит, и ее героев — простых людей, осознавших свое историческое призвание строителей коммунизма.

Мы не имеем права считать истекший год так уж бедным произведениями. Их вышло в свет немало. Характерной чертой развития советской литературы был в последнее время рост национальной прозы. Появились произведения писателей-прозаиков, живущих в областях. Поэзия пополнилась молодыми кадрами. Голос поэтической молодежи начинает звучать все громче и задорнее.

При всех положительных признаках роста основной слабостью нашей литературы остаются все же до сих пор отставание от современности, недостаточно глубокий показ наших дней с их пафосом труда, патриотизма и смелого новаторства. Ни в прозе, ни в поэзии мы не знаем пока произведений, равных фильму «Великий гражданин», в котором с такой силой дан облик нового человека-творца, трибуна, коммуниста, до последней капли крови преданного своей идее. Народ выдвигает тысячи героев, подобных Шахову, и ждет от художников их воплощения в искусстве.

Самое искреннее наше новогоднее пожелание: пусть наступающий тысяча девятьсот сорок первый год станет годом рождения больших произведений литературы и искусства, достойных сталинской эпохи, ее замечательных людей, ее места в истории.

Достойные кандидаты

В Советской Латвии избирательная кампания в разгаре.

В числе удостоившихся высокой чести быть выдвинутыми в депутаты Верховного Совета СССР от трудящихся Латвии есть и писатели, чьи произведения и имена пользуются заслуженной любовью освобожденного народа.

Широко известно имя Вилиса Лациса. Это один из выдающихся литераторов Латвии, автор популярного романа «Сын рыбака». Сейчас т. Лацис — председатель Совнаркома Латвийской ССР.

Вилис Лацис зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Тукумскому избирательному округу.

Жанис Спуре, ныне один из секретарей ЦК коммунистической партии Латвии, также видный писатель. Его произведения часто появлялись в подпольной коммунистической печати.

Окружная комиссия Лепайского избирательного округа № 664 зарегистрировала кандидатуру Жаниса Спуре для баллотировки в депутаты Верховного Совета СССР.

Хороший почин

Хороший почин сделала группа писателей и научных работников Москвы: они взялись читать в новых ремесленных и железнодорожных училищах в неучебное время популярные лекции по истории литературы, по географии, геологии, по вопросам искусства и культуры. Этот почин уже превращается в Москве в большое движение.

Ленинградские писатели не могут не присоединиться к такому прекрасному начинанию. Мы беремся в свою очередь выступать у воспитанников новых училищ и школ ФЗО с чтением лекций, научно-популярных и художественных произведений, чтобы содействовать культурному росту молодых рабочих нашей страны.

Обращаемся к научной и художественной интеллигенции Ленинграда с призывом поддержать большое культурное дело.

Предварительный опрос уже обнаружил готовность многих товарищей принять участие в выступлениях по школам.

А. Бармин, Б. Бялик, Ю. Герман, А. Дымшиц, В. Десницкий, В. Жирмунский, М. Зощенко, Б. Лавренев, Н. Пинсанов, Л. Плоткин, А. Прокофьев, Л. Рахманов, С. Семенов, М. Слонимский, Н. Тихонов, О. Цехновицер.

Рисунок художников Н. Жукова и В. Добровольского

С НОВЫМ ГОДОМ!

На с'езде писателей Карело-Финской ССР

Осуществленные мечты

Более тридцати лет назад знаменитый финский писатель Ирмари Рантамала (Майю Лаасила) устами одного из своих героев предвещал рождение новой могучей России. Он мечтал о союзе свободных народов, которому суждено стать «великим центром мира».

«Свободная радостная жизнь, — писал Ирмари Рантамала, — привлечет все новые и новые народы в счастливую семью, которая скажет самое веское слово в делах мира, челнок которой вплетет лучшие узоры в ткань истории».

Пророческие слова Ирмари Рантамала, классика финской литературы, расстрелянного лахтарями в 1918 г., напомнил с трибуны I с'езда советских писателей Карело-Финской ССР известный финский поэт-революционер, ныне депутат Верховного Совета СССР т. Армас Эйкия.

— Мы воочию убедились, — сказал он, — что пророчество нашего великого писателя сбылось. Семья народов — Советский Союз — живое тому доказательство. И одним из равноправных членов этой семьи является Карело-Финская ССР.

В созидательной работе, которой захвачен сейчас карело-финский народ, огромное значение придается науке, искусству и литературе. Вопросы дальнейшего развития карело-финской литературы, обсужденные I с'ездом писателей Карело-Финской ССР, вытекают из насущных потребностей молодой республики, успешно строящей коммунизм, создающей свою высокую социалистическую культуру. С'езд писателей привлек к себе пристальное внимание широкой общественности. В президиум, руководивший работой с'езда, помимо писателей и сказителей, вошли секретари ЦК КП(б) Карело-Финской ССР тт. Куприянов и Сюкияйнен, председатель президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР т. Куусинен, председатель СНК Карело-Финской ССР т. Прокконен, легендарный революционер Тойво Антикайнен и др. Активное участие в деловой работе с'езда приняла делегация ленинградских писателей.

Задачам, стоящим перед писателями в деле развития культуры карело-финского народа, был посвящен содержательный доклад секретаря ЦК КП(б) Карело-Финской ССР т. И. Сюкияйнена.

Большую часть своего доклада т. Сюкияйнен уделил анализу творчества карело-финских писателей. Он особо отметил, как выдающееся явление в литературной жизни республики, поэму Армаса Эйкия о Тойво Антикайнене — «Песня об орле» и переводы т. Эйкия из Лермонтова и Маяковского.

— Мощной базой для роста карело-финской литературы, — говорит т. Сюкияйнен, — является народное творчество, давшее миру такой шедевр, как «Калевала». Творчество сказителей, рунопевцев, былинников и сказочников занимает наиболее значительное место в литературе Карело-Финской ССР.

Поставив перед Союзом писателей ряд важных идейно-творческих задач по созданию высокохудожественных произведений на финском и русском языках, произведений, отображающих дела и людей молодой республики, т. Сюкияйнен указал на огромное значение переводов на финский язык русских классиков и лучших книг советских писателей, а также переводов на русский язык наиболее ценных произведений классической финской и современной карело-финской литературы.

Подробный обзор состояния литературного движения в Карело-Финской ССР был сделан в докладе секретаря ССП Карело-Финской ССР т. С. Колосенок. Он разобрал ряд произведений Хильды Тихля, А. Эйкия, В. Чехова, Базанова, Гудкова, Кутасова, Никоновой, Норина и других поэтов, прозаиков, литературоведов, а также творчество сказителей Коргуева, Конашкова, Рябинина, Андреева, Пашковой, Туруева, Ремсу, Свиньина... Все эти прославленные сказители являются не только крупнейшими носителями народного творчества, унаследованного от дедов и отцов, но продолжают создавать все новые и новые произведения, откликающиеся на важнейшие события нашей жизни.

Два дня продолжались прения по докладам тт. Сюкияйнена и Колосенка. Суровой критике была подвергнута деятельность Союза писателей, который очень плохо занимался идейно-творческим воспитанием литераторов. Творческому росту писателей мешает и слабость литературной критики.

С большим вниманием была выслушана старейшая финская писательница Хильда Тихля, рассказавшая о своей творческой работе. Одним из наиболее ярких моментов на с'езде была умная и страстная речь т. Армаса Эйкия, потребовавшего от писателей строгого критического отношения к своему труду, серьезной и вдумчивой учебы. Ленинградские писатели Б. Лихарев, Вс. Рождественский, И. Бражнин, проф. М. Азадовский, Д. Щеглов, В. Владимиров и др. в своих выступлениях наметили пути для укрепления дальнейшей повседневной творческой связи литературных организаций Карело-Финской ССР и Ленинграда. На большое значение совместной работы карело-финских и ленинградских писателей указал в своем заключительном слове т. Сюкияйнен.

Оживленные споры карело-финских и ленинградских писателей и ученых-фольклористов вызвал интересный доклад В. Базанова о народном творчестве и работе со сказителями. По всем докладам приняты решения.

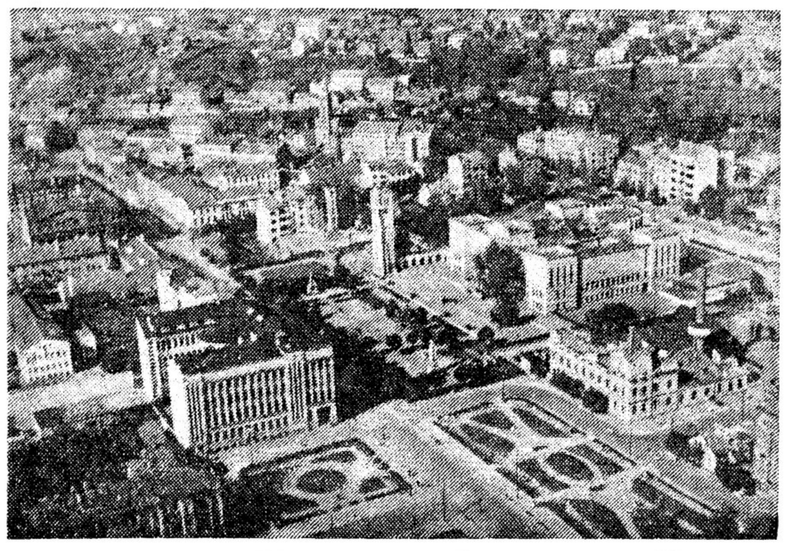
...Первый с'езд советских писателей Карело-Финской ССР происходил накануне нового года. Этим знаменательным литературным событием в молодой республике как бы завершен 1940 г., вписавший столько радостных страниц в историю карело-финского народа. С новыми творческими силами встречают поэты и прозаики, рунопевцы и былинники Карело-Финской Советской Социалистической Республики наступающий год.

С'езд послал приветствие товарищу Сталину.

Б. РЕСТ

ПЕТРОЗАВОДСК. **(От наш. спец. корр.).**

ПЕТРОЗАВОДСК. **(От наш. спец. корр.).** На I с'езде советских писателей Карело-Финской ССР тайным голосованием избрано новое правление ССП КФССР. В правление вошли тт: А. Эйкия, С. Колосенок, Т. Хело (Гутари), В. Базанов и В. Чехов. Секретарями правления избраны А. Эйкия и С. Колосенок.



ГОРОДА ПРИБАЛТИЙСКИХ РЕСПУБЛИК, ВОШЕДШИХ В 1940 ГОДУ В СОСТАВ СССР. На снимке (слева направо): набережная в гор. Риге (Латвийская ССР), гор. Каунас (Литовская ССР), панорама гор. Таллина (Эстонская ССР).

Ал. АБРАМОВ

В зарубежном городе Глупове

Ровно год назад в американском городе Бостоне произошло удивительное событие. Новогоднее заседание бостонских литераторов-спиритов посетил «дух» Сэмюэля Клеменса, известного всему миру под именем Марка Твэна. Надо сказать, что на заседании присутствовал и мистер Джозайя Уинслоу, медиум-профессионал (есть и такие профессии в Америке), что уже само по себе может служить убедительным доказательством правдивости происшедшего.

А произошло вот что: после магических постукиваний столика и прочих явлений из области непознаваемого, над головами присутствовавших появилось зеленоватое облачко, постепенно принявшее черты знакомого всем портрета.

«Дух» оказался милым и приветливым гостем. Он любезно поздравил всех с новым годом и пожелал счастливого бизнеса. Затем, как и подобало, разговор зашел о литературе, ибо о чем лучше говорить с «духом» великого писателя.

И тут, как признается нескромный репортер нью-йоркского юмористического журнала, произошел небольшой конфуз. Дух начал смущаться и мямлить. За годы своей загробной жизни писатель, видимо, утратил всякое представление о литературе: он не только не знал современных писателей, но, к удивлению присутствовавших не помнил даже лучших своих произведений (удивляться, собственно, тут было нечему: мистер Джозайя Уинслоу, медиум-профессионал, ничего не читал, кроме бульварных романов).

Впрочем «дух» быстро оправился от смущения и закончил беседу эффектным пророчеством о немаловажных событиях, которые якобы должны были произойти в мире искусства и литературы.

— Какие события, мистер Клеменс? Романы? — поинтересовался один из спиритов.

— Вообще события, — неопределенно ответил «дух» и поспешил растаять в воздухе.

В 1940 г. в литературной жизни Америки было действительно не мало значительных событий. Были и романы — Ричарда Райта «Сын народа» и Колдуэлла «Случай в июле» (совсем недавно вышел новый роман Хэмингуэя «Для кого звонит колокол»), были и пьесы — Ирвина Шоу и Клиффорда Одетса, были и театральные постановки Орсона Уэллеса, и новые полотна на художественных выставках. Но, повидимому, совсем не эти события имел в виду новогодний гость бостонских спиритов, и едва ли они особенно интересовали его слушателей.

Ибо есть события и события. События в мире нормально мыслящих индивидуумов и события типа тех, что происходили в щедринском городе Глупове. Он жив и посейчас, этот неумирающий город, сметенный октябрьскими вихрями лишь с территории бывшей Российской империи.

Живы еще в своем зарубежном обличьи и Бородавкины, и Прыщи, и Брудастые. Это они беседуют с «духами» в клубе бостонских спиритов. Это они пишут книги под названием: «Дева Мария в истории Франции» и «Беседы с женщинами о сущности греха». Это они в дни воздушных бомбардировок ставят в Манчестере пьесу «У Гамлета был дядя». Это они под фирмой «Дочерей американской революции» организуют доклады на тему «Война и душа современной матери».

Это они травили Мартина Андерсена Нексе в Дании и травят сейчас профессора Холлейна в Англии. Это они измышляют злобные клеветнические басни об СССР и подписывают их именами «модных» писателей. Это они организуют «крестовый поход» против «Грозьев гнева» Стейнбека и пишут на дверях кинотеатров: «Негры не допускаются». Это они защищают в американских университетах диссертации на тему «От Фомы Аквинского до пастора Коглина».

Это один из них в роли мэра американского города Денвера, увидев портрет Шекспира, выставленный на улице гастролировавшей в городе трушпой, завопил подобно Брудастому: «Не потерпло!» И приказал немедля убрать портрет, соблаговолив присовокупить и мотивировку: «А что этот суб'ект, собственно, сделал для Денвера?»

Это один из них под именем депутата конгресса Шэннона выступил в городе Ганнибале с «поправками к биографии» Марка Твэна. Никто из присутствовавших на собрании не ожидал блестящего литературного доклада, но никто и не ожидал такой поистине угрюм-бурчеевской брани, какую изрекли уста почтенного конгрессмена. Марк Твэн был назван «предателем интересов Юга, дезертиром и трусом», отказавшимся защищать знамя рабовладельчества, а городу Ганнибалу был дан совет немедленно отказаться от чести считаться родиной такого «предателя».

Не об этом ли событии пророчествовал бостонским спиритам вызванный ими «дух» Марка Твэна?

И не о том ли, что произошло летом этого года в городе Бреннере (штат Огайо), где ученый совет колледжа, обнаружив в библиотеке несколько десятков книг с «вредными политическими тенденциями», постановил сжечь их на школьном дворе? А когда ректор колледжа рискнул было усомниться в мудрости деяний подобного рода, под дверь дома «защитника крамолы» был подброшен зажженный динамитный патрон. И перепуганный скептик вынужден был публично признать и одобрить патриотический поступок своих «ученых» коллег.

Мервин Харт, член ученого совета Бинхэмского колледжа в штате Нью-Йорк не рискнул упразднить все науки, но зато упразднил и сжег хрестоматии Гарольда Рэгга, содержащие отрывки из книг, положительно отзывающихся о Советском Союзе.

Голливудская кинозвезда Мэ Вест не так давно вновь опубликовала свои «8 заповедей успеха женщины», представляющих так сказать некую ревизию евангельских «заповедей блаженства». «Блаженны прекрасные и капризные, изменчивые и эгоистичные, — провозглашает «звезда», — соблазняйте с первого взгляда, и вы сэкономите чертовски много времени и хлопот».

Американский «радиопастор» Коглин вывесил у алтаря своей модернизированной «радиочасовни» в Детройте очередной живописный шедевр: коленопреклоненного футболиста, застывшего в молитвенном экстазе перед началом матча. «Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми рабу твоему», гласит подпись под картиной, призывая всех футболистов-католиков щадить кости своих противников.

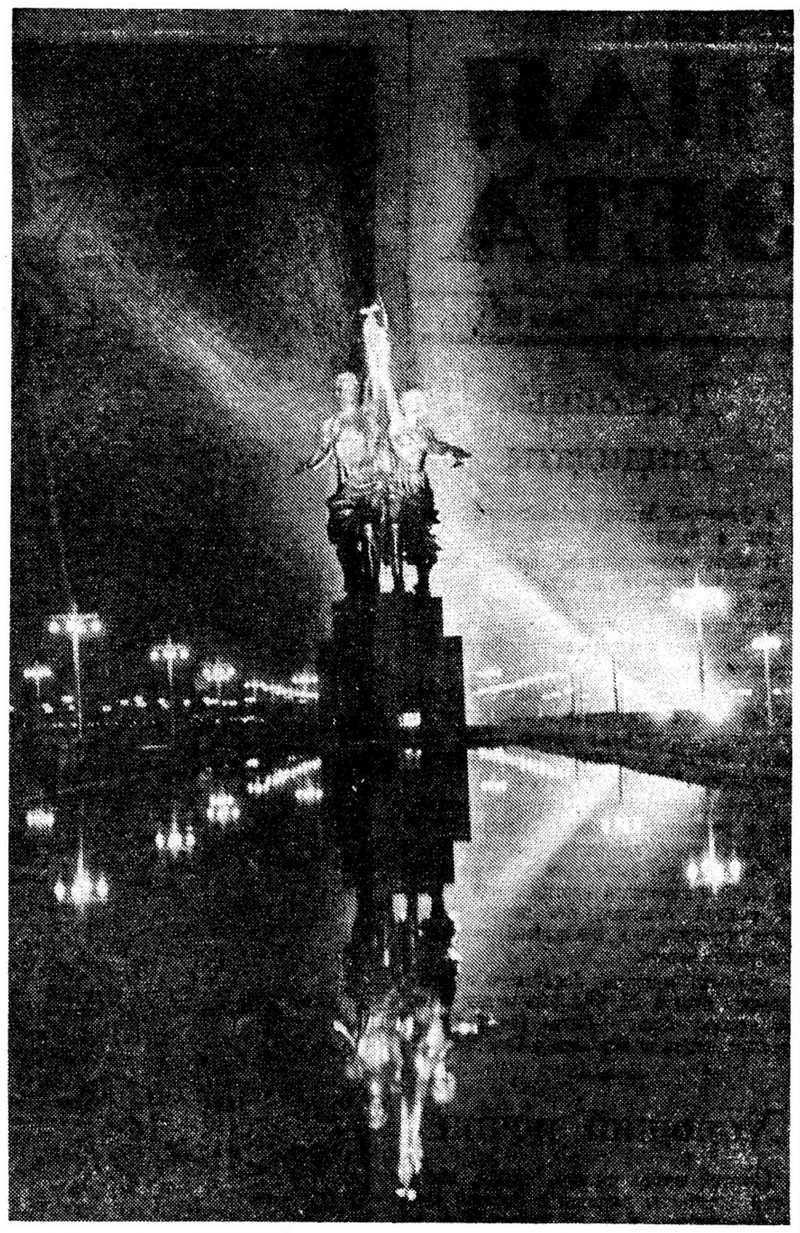
Года два назад, когда лондонцы мирно работали днем и спали ночью, лишь теоретически представляя себе, что такое воздушная тревога, досужие глуповцы из английских газет весело острили на тему о том, какие книги полезно иметь в каждом бомбоубежище. Рекомендовались: библия раскрытая на страницах разрушения Содома и Гоморры, «Последние дни Помпеи» Бульвера, «Потерянный рай» Мильтона и аналогичные произведения, которые, мол, будут «гармонировать с тем, что происходит на улице».

Не так давно лондонцы, в действительности переживающие кошмары воздушных бомбардировок, к своему великому удивлению вдруг прочли в газетах те же самые рекомендации и советы: английские Грустиловы, прикрывшись псевдонимами видных писателей, наперебой предлагали читателю «подходящую литературу в томительные часы воздушной тревоги».

Маститый сэр Гью Уолпол с самым серьезным видом об'явил, что с тех пор, как начались бомбардировки Лондона, он «каждое утро читает Шекспира, ибо Шекспир наиболее соответствует переживаемому моменту». Е. Л. Вудворт рекомендовал читать Данте и Мильтона. Другие, напротив, считали, что классики совершенно не годятся: «Только развлекательная литература. Чем фривольнее, тем лучше». Критик Джозеф Селл изрек на страницах «Манчестер Гардиан», что нужно комбинировать чтение по принципу контрастов. Например, Лиддел-Харт и поэты озерной школы, Черчилль и Теннисон. Из царства «суровой реальности» читатель может сразу переселиться в идиллический мир поэзии, что, по мысли критиков, будет способствовать укреплению нервной системы. Однако Грустилов из журнала «Джон О'Лондон» решительно опроверг мнение своего коллеги, признав поэзию совсем неподходящим чтением в бомбоубежище. Ссылаясь на Эдгара По, он об'явил, что «поэзией можно наслаждаться не больше получаса, а воздушная тревога редко бывает столь кратковременной».

Если бы писателей этих спросили о смысле и уместности подобного рода дискуссии, они сослались бы на редакцию газет («надо же кушать, м-сье»), редакции газет — на издателей, а издатели — на необходимость «оживить угасающий в массах интерес к литературе». Война есть война, а прибыль есть прибыль, джентльмены.

И в будущем году они скажут то же самое. Ибо Глупов жив и пока умирать не собирается. Есть помимо него и настоящая жизнь на Западе, есть и литература есть и искусство, есть и наука. Но Глупов их не знает и ими не интересуется. И живут его обитатели, делают свое тупое, грязное и скучное дело.



СКУЛЬПТУРА В. МУХИНОЙ. Фотоэтюд Г. Петрусова.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Как я был конферансье

Больше всего было возни с хроматической гармонью. Три красноармейца-гармониста бережно подымали ее, торжественно натягивали на плечи ремни, брали несколько нелепых аккордов и... откладывали гармонь в сторону.

— Итальянский строй... — виновато говорили они. — Не можем...

Один Козлов не сдался. Полтора часа репетировал он несколько музыкальных номеров — и все-таки одолел их.

Значит, все было готово для концерта. Мы отправились на выступление...

В избе, казалось, существовали только нары. На них, тесно прижавшись друг к другу, сидели бойцы батальона связи. Два фонаря «летучая мышь» заменяли обычные в этих случаях люстры.

— Товарищи! — сказал комиссар батальона. — Через короткое время наступит новый год. Надо встретить его достойно и на передовых позициях. Прошу кричать вполголоса, но в первую очередь провозгласим «ура» в честь Родины и великого Сталина.

— Ура! — прокричали бойцы, стараясь сдержать себя, чтобы не грянуть в полную силу.

Слово было предоставлено мне.

— Новогодний концерт в колонном зале батальона связи об'являю открытым. Перед вами выступят артисты передовых позиций героического финского похода, внештатные лауреаты СССР. У хроматической гармони трофейного образца — заслуженный художник связи, народный артист Чебоксарского уезда, боец Козлов.

Все дружно захлопали. Козлов встал и комически раскланялся.

— Глядь! И вправду колонный зал! — восторженно проговорил какой-то боец, показывая на столбы, которыми были скреплены нары.

Общее оживление было ему ответом.

Я стал читать стихи. Сотни раз приходилось мне выступать перед всякими аудиториями, но перед такой — не случалось. И не то, чтобы не видал я бойцов связи в тех воинских частях, где поэты читали стихи. Обстановка делала всех особенными, место встречи было неповторимо знаменательным. Всего несколько часов назад все мы вышли из боя и готовились к новому бою. Каждую секунду могла прервать наш концерт боевая тревога. Где-то далеко происходила перестрелка. Изредка с нашей стороны гремели орудийные выстрелы. А люди, сидящие передо мной, внимательно слушали стихи. Незабываемые минуты!..

— А теперь прослушайте музыкальную эксцентриаду на деревянных ложках. Исполнит — виртуоз финансовой науки Корецкий, заслуженный кушатель щей.

Начальник финансовой части батальона зажал ручку одной деревянной ложки зубами и, держа перед собой другую деревянную ложку, так залихватски исполнил вместе с Козловым «Яблочко», что бойцы только покрякивали от удовольствия. Успех был необычайный.

Мгновенно преобразившись в «солиста поэтического ансамбля армейской газеты Ухтинского направления», я спел под гармонь фронтовые частушки. Бойцы подпевали мне, повторяя последние двустишия, и лихо притаптывали во время отыгрыша баяниста.

И когда спеты были три варианта новых частушек, растянул Козлов мехи хроматической громадины, грянув «барыню».

Без вызова один за другим выходили бойцы на крошечное пространство пола, соревнуясь в присядке, приступках и всяческих танцовальных коленцах. Вихрем носились «балетные звезды финского театра войны», удивляя всех выдумкой и энергией в нескончаемой пляске...

Комиссар поднял руку и сказал:

— Поздравляю вас, товарищи, с новым победоносным годом! Да здравствует Советская родина! Великому Сталину ура!

Так встретили мы новый 1940-й год.

НАКАНУНЕ

Выходящий в Виши журнал «Се Жур» в номерах от 10, 17, 24 ноября и газета «Тан» от 11 ноября опубликовали некоторые любопытные материалы о деятельности и позиции французского правительства в дни, предшествующие перемирию. Хотя в этом материале явно чувствуется стремление найти оправдание многим нынешним французским реакционным заправилам, он, однако, в определенной мере характеризует обстановку, предшествующую капитуляции, и потому представит определенный интерес для нашего читателя.

□□□

«...8 июня созывается заседание совета министров. За 15 минут до заседания премьер, как обычно, представляет президенту новых министров. Лебрен заинтересовался де Голлем. Он спрашивает его о технике танков. Генерал всячески подчеркивает важность роли танков в нынешней войне. Президент выслушивает его со вниманием.

9 июня вновь созывается заседание совета министров, на котором Поль Рейно делает отчет о дипломатическом положении, особо останавливаясь на позиции Италии. Он подробно говорит о тянущихся целый месяц переговорах с Римом и в заключение заявляет: «все было испробовано, все двери были приоткрыты и даже открыты для переговоров. В ответ на любое наше предложение, наши собеседники говорили: у нас уже сложилось мнение».

К концу заседания Рейно дал понять, что правительство должно подготовиться к от'езду из Парижа. Предложен был следующий план эвакуации: в первую очередь уезжают министры, чье присутствие в Париже необязательно; те же, кто руководит войной вместе с Рейно, покинут Париж в последний момент. По этому вопросу в совете министров нет единодушия. Дельбос, который должен был уехать в первую очередь, заявляет, что нельзя устанавливать две категории министров, нельзя делить их на более смелых, которые будут держаться до конца, и менее смелых, которые уедут сейчас. Правительство должно представлять единое целое, и если нужно уезжать, то всем.

...Вся северная Франция находится уже на пути к югу, все в беспорядке. Министры живут в Туре, президент Лебрен — в замке Канже, дипломатический корпус разбросан по луарским замкам. 11 июня в половине восьмого вечера собрался наконец полный состав правительства. Не прибыл лишь Фросар. Никаких церемоний, как бывало когда-то в Елисейском дворце. Лебрен, Рейно, Петэн сели за стол, Вейган уселся у края стола, в руках у него папка с документами. У всех серьезные, озабоченные лица.

— Я попросил Вейгана описать нам военное положение, — начинает Рейно.

— Когда я принял командование, — говорит Вейган, — линия реки Маас была прорвана, наши армии беспорядочно отступали. Усилия были направлены к тому, чтобы сплотить центр и левый фланг. Я попытался добиться об'единения обеих частей от Арраса до Амьена. Попытка не удалась. После Дюнкерка у меня осталось только 55 французских дивизий и две английские. Я подумал, что мы должны дать последний бой. Но и вторая битва была проиграна.

— Три дивизии, посланные в Ла-Манш, очутились в критическом положении. Две английские дивизии сели на суда, французам же пришлось капитулировать. Продолжать защиту Парижа было невозможно. Немцы перешли Сену у Андевиса. Французская армия была разбита на мелкие части.

— Если правительство прикажет, я продлю сопротивление — закончил Вейган. — Но должен констатировать, что война окончательно проиграна. Мы должны заключить перемирие.

В зале царит жуткая тишина. Слово берет Петэн. Он присоединяется к мнению Вейгана. Высказываются Кампинки и Дельбос. Первый — возбужденно, а второй — спокойно. Они предлагают продолжать войну.

— Войну надо продолжать, — заявляют они, — со стороны Луары и Гаронны, а если нужно, то и в колониях. Весь флот еще цел.

Монэ и Дотри также требуют продолжения войны. Феврие высказывается за капитуляцию.

Члены кабинета обращаются к министру вооружений Дотри. Ему задают вопрос — можно ли построить в Северной Африке заводы. Дотри отвечает отрицательно, ибо на это потребуются годы.

Быть или не быть? Весь совет министров уподобляется Гамлету. Тихо и неподвижно сидит Мандель, его пронзительные глаза напряжены еще больше, чем обычно.

Сумерки спускаются над долиной Луары. Лакей зажигает лампы. Лебрен нервно приказывает ему удалиться.

Прения продолжаются. Министр пропаганды Пруво высказывается за перемирие. Кампинки предлагает правительству переехать в Бретань, а потом в колонии. Дельбос также возражает Пруво. Рейно, резюмирующий прения, предлагает до принятия решения встретиться с Черчиллем. Завтра, в 17 часов, Черчилль должен прибыть в Нант. До сих пор молчавший Шотан вдруг заговорил:

— Лучше пусть Черчилль приедет на заседание министров, тогда он узнает всю правду. Рейно должен по телефону пригласить Черчилля в Тур.

На этом заканчиваются прения, но смятение остается. В 23 часа долина Луары погружается в глубокую тьму, а на дорогах Франции происходит великое бегство — спасайся кто может!

13 июня, накануне второго заседания совета министров в Канже, Рейно принял председателей сената и парламента — Жаннене и Эррио. При слове «перемирие» оба начали осыпать его упреками.

— Я не могу понять, — заявил Жаннене, — как французское правительство могло хоть на мгновение допустить такую мысль.

На этом заседании, выступил министр финансов Бутилье. Он потребовал обсуждения вопроса о перемирии и заявил, что ему лично представляется невозможной дальнейшая борьба. Однако, по его мнению, также невозможно и бегство правительства. Кое-кто все же продолжает упорствовать. Луи Марен ворчит. Министр торгового флота Рио жалуется, хотя и не пытается настаивать на необходимости борьбы во что бы то ни стало. Ибарнегаре, который еще вчера был сторонником сопротивления, сегодня заявляет, что «считается с реальностью». Происходит стычка между «социалистом» Серолем, который также был сторонником сопротивления (но спокойным), и Помаре. Слово берет Фросар, отсутствовавший на прошлом заседании. Он говорит, что нельзя притти к окончательному решению, пока не получен ответ на три вопроса: 1) Черчилль дал торжественное обещание, что, в случае победы, Англия берет на себя безусловное обязательство восстановить понесенные Францией разрушения. Солидаризируется ли английское правительство со своим руководителем? 2) Готова ли Америка оказать нам полную поддержку? 3) Как может быть разрешен вопрос о флоте?

15 июня в Бордо происходит первое заседание совета министров. Петэн ставит вопрос о перемирии. Президент республики, председатели сената и парламента, некоторые министры высказываются за то, чтобы переехать в Перпиньян и затем покинуть территорию метрополии. Петэн отказывается, заявляя, что он останется при всех обстоятельствах. Заседание происходит в напряженной атмосфере. Вопрос о перемирии ставит не Петэн, а генерал Вейган, который целиком согласен с Петэном.

В дискуссии выступает Рейно, категорически заявляющий: борьба до конца необходима. Он ждет, как будут реагировать окружающие. Никто не отвечает, но лица говорят без слов. Председатель совета министров мягкостью тона пытается разрядить напряжение. Впрочем, совет министров не может высказаться, пока не получит ответа от США.

Затем выступает Мандель:

— Среди нас есть молодые министры, которые весьма недисциплинированы.

Он имеет в виду Бодуэна, Бутилье и Пруво. Тогда Пруво заявляет, что они не намерены спрашивать у Манделя его мнения о том, какую политику нужно проводить. Фросар хочет их успокоить и говорит:

— Перемирие не означает капитуляции. Нужно просить перемирия лишь для того, чтобы уяснить себе неприемлемость германских требований.

Шотан добавляет: нужно спросить у Германии, каковы ее условия прекращения военных действий и мира. Эта формула получает большинство, и против нее выступают лишь Луи Марен, Моннэ, Рио и Луи Роллен. Рейно отвечает:

— Это предложение противоречит обязательству о солидарности, данному нами Англии.

16 июня происходит второе заседание совета министров в Бордо. Получен ответ Рузвельта. Но до заседания Петэн подает заявление об отставке, мотивируя это тем, что предложенный им единственный выход из создавшегося положения не принят. Он не хочет быть в числе виновников бед, за которые расплачивается Франция. Он добавляет, что страна сумеет подняться лишь собственными силами и лишь в том случае, если правительство, оставшись среди французов, покажет им пример и разделит общие страдания. Рейно предлагает вновь встретиться с Черчиллем, а Петэна просит повременить с отставкой.

В тот же день созывается третье заседание совета министров в Бордо. Большинство министров считает, что предложение английского правительства о вхождении Франции в Британскую империю не отвечает нынешним проблемам и чревато опасностями.

— Все эти дискуссии слишком затянулись. Становится все яснее, что среди нас имеются министры — сторонники войны, и министры — сторонники мира, — говорит Мандель.

Его резко перебивает Шотан заявлением:

— Господин Мандель, я не позволю вам говорить, что здесь есть смелые и трусы, здесь имеются лишь люди с сердцем, глубоко чувствующим трагичность положения.

Все министры одобряют слова Шотана. В заключение выступает Рейно:

— Установлено, что лишь меньшинство совета министров разделяет мою точку зрения. Я не могу просить о перемирии и требовать у Англии, чтобы она освободила Францию от обязательств. Возможно, господа, в один прекрасный день вам понадобится человек, который за основу своей политики взял бы франко-английскую дружбу и союз. Сегодня я прошу принять мою отставку.

Вместе с президентом республики против этого протестуют некоторые министры. Но тщетно. Необходимость отставки Рейно очевидна.

17 июня Бодуэн через испанского посла обратился к Германии с предложением о перемирии. В это время Мандель завтракал в кафе «Шапон Фен». Всю ночь он бомбардировал агентство Гавас ложными тенденциозными сведениями о составе нового правительства. К Манделю подходит лейтенант мобильной гвардии и просит его следовать за ним. Мандель арестован.

18 июня совет министров в новом составе собрался вторично. Когда Вейган сообщил, что германская армия оккупировала От-Сон, Фросар зарыдал. Принимается единогласная резолюция: что бы ни случилось, Франция не выдаст своего флота».

«Тан» от 11 ноября помещает выдержки из брошюры сенатора Шарля Рейбеля, бывшего членом внешне-политической и армейской комиссии парламента. Автор излагает события, в которых он принимал непосредственное участие с 10 по 17 июня с. г. Рейбель указывает, что 13 июня никто из окружения Рейно не сомневался в полной безвыходности положения. 14 июня Рейбель встретился с Вейганом, который его информировал о положении на фронте, заявив, что 21 мая он взял на себя командование при исключительно тяжелых обстоятельствах, когда лучшие войска оказались полностью изолированными. Рейбель сообщает, что еще 29 мая Вейган писал председателю совета министров: «Военные операции развиваются так, что в скором времени может оказаться невозможным продолжать войну. Нужно уже сегодня предупредить об этом английское правительство, дабы своевременно принять необходимые меры».

6 или 7 июня Вейган в новом письме убеждал правительство в необходимости перемирия. «Желательно было, — пишет Рейбель, — сохранить Париж, избежать эвакуации правительства, а также об'явления войны Италией, которого ждали со дня на день».

12 июня Вейган вновь послал письмо, но совет министров был непреклонен. «Пока это еще армия, — писал Вейган о французских войсках, — но через несколько дней, возможно, через несколько часов — это будут лишь разрозненные отряды».

13 июня собрался верховный совет. Вейган и Жорж указали Черчиллю на абсолютную и срочную необходимость присылки британских подкреплений. Черчилль обещает лишь три дивизии и 72 орудия.

После этого собирается заседание совета министров. Правительству представлены два плана, и оно не знает, какой выбрать. Первый заключался в том, чтобы уехать в Англию, второй — в том, чтобы отправиться в Бордо, а оттуда вместе с парламентом в Африку, где ждать два или три года, пока англо-американская авиация будет в состоянии вновь завоевать Францию.

Напрасно Вейган стремился доказать безумие такого плана. Напрасно Петэн заявлял, что Франция никогда не подчинится эмигрировавшему правительству.

Рейбель рассказывает, как он затем отправился в Тур, намереваясь повлиять на президента республики и правительство, но последние уже были в Бордо. 15 июня он встретился с Лебреном и имел с ним полуторачасовую беседу.

— Представьте себе, — заявил мне Лебрен, — что генерал Гамелен за несколько дней до моего от'езда из Парижа явился ко мне и восхвалял свою концепцию, добавив, что если бы пришлось все начинать сначала, то он поступил бы так же, как и раньше».

Чествование Аветика Исаакяна

ЕРЕВАН. (Наш корр.). 23 декабря общественность Еревана торжественно отметила 65-летний юбилей выдающегося мастера армянской поэзии Аветика Исаакяна.

Торжественное заседание открывает председатель юбилейного комитета, секретарь президиума ССП Армении т. Сирас.

После его вступительного слова с докладом о жизни и литературной деятельности Аветика Исаакяна выступает директор литературного музея Армении, критик А. Мкртчян.

— Армянский народ особенно любит и чтит Исаакяна за то, — говорит докладчик, — что его творчество носит глубоко народный характер, его песни, отражающие печаль и радость, настолько близки народу, что распеваются по всей стране. Творчество Исаакяна всегда было насыщено общественными мотивами, яростным отрицанием буржуазного правопорядка пламенным утверждением жизни.

После доклада с приветствием от правительства Армянской ССР выступил нарком просвещения Б. Мартиросян. Он огласил решение Совнаркома республики об издании полного юбилейного собрания сочинений Аветика Исаакяна, присвоении школе № 16 Еревана, школе в селении Казарапат, где провел годы своей юности поэт, и улице на родине поэта в Ленинакане имени Аветика Исаакяна.

Выдающегося лирика Армении приветствуют представители литературы и искусства, общественных организаций. От имени президиума Союза советских писателей Армении юбиляру преподносят его большой портрет работы народного художника республики Мартироса Сарьяна. Кроме того, поэту преподносят роскошный альбом произведений композиторов Армении на текст песен Исаакяна, альбом рисунков художников Армении, ряд ценных подарков.

На заседании оглашают приветственные телеграммы, полученные на имя Аветика Исаакяна со всех концов страны: от союзов советских писателей — СССР, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, выдающихся деятелей литературы и искусства.

В ответной речи Аветик Исаакян горячо благодарил партию, правительство и весь армянский народ, торжественно отметивших его юбилей.

— По эти почести, — говорит юбиляр, — я отношу не к себе, а к армянскому народу, его языку, литературе и культуре.

Е. МЕЛИКОВА.

В пушкинском уголке Дворца пионеров (Москва). Фото Ольги Игнатович.

■ ■ ■

Александра БРУШТЕЙН

Пока часы салютуют новому году...

Есть старое поверье. Пока часы отбивают 12 ударов, — последнюю минуту старого года, — надо успеть написать на бумажке свои желания и сжечь бумажку на елочной свечке.

Тогда желания сбудутся.

«Уж полночь близится»...

И я пишу свои желания на новый — 1941 — год. Я даже иллюстрирую их притчами и примерами, — чтобы старому Деду-Морозу было понятнее.

I

Жил человек. Ничего человек, — как все. Даже уважали его. То ли надоело это ему, то ли лукавый его попутал, но только сбился этот человек с пути. Натворил беды, как последний нечестивец, — а сам даже не замечает этого!

И вот однажды этот нечестивец увидел старика, который горько плакал.

— О чем ты плачешь? — спросил нечестивец.

— О тебе, милый, плачу... — ответил старик. — Тебя жалею...

— Чего ж меня жалеть? — удивился нечестивец. — Я живу — дай бог всякому.

— Черны твои дела. Все тебя сторонятся, — зарыдал старик. — Вода — и та поить тебя не хочет!

— Ну, это ты врешь! — засмеялся нечестивец. — Гляди, — сейчас напьюсь!.. — и, взяв кувшин, он ставит его под струю колодца.

Но — диво! — струя с такою силой ударила в кувшин, что вся до капли отскочила от него обратно!

— Да твой колодец, верно, заколдован... — ворчит нечестивец.

И он идет к ручью. Но ручей уходит от него под землю! Нечестивец бросился к реке, — но река изменила русло и потекла прочь от него, как от незнакомого! Нечестивец вошел в задор и побежал к морю. Но море в тот же час ушло с отливом и, хоть бежал за ним нечестивец рысью, но не настиг его отпрядывающих волн.

Дождь, иней, снег — поить его не стали. Роса соскальзывала с цветов и быстро всасывалась в землю. Даже лужа,— зловонная и грязная, — отвергла его кувшин и высохла пред ним!

Тогда нечестивец упал на землю — с пустым кувшином, с опаленной глоткой.

Заплакал он, и первая слеза, упавшая в кувшин, наполнила его до самых краев...

Так говорит старинная легенда, сложенная более шести веков тому назад. Но для осознания своих ошибок, осознания, смывающего застывшую улыбку зазнайства и самоуспокоенности, у нас есть другое средство — самокритика...

И этой дефицитной и нужной самокритики хочется видеть побольше в журналах и газетах, в статьях и выступлениях, в заседаниях и резолюциях... Нет, впрочем, в писательских резолюциях как-раз она присутствует совершенно достаточно!..

II

Сидит человек и рисует. Домик — и дым из трубы, домик и дым, домик и дым... Он может зарисовать такими домиками множество листов. А другой сидит и пишет: «Иван Семенович Прохоров, Иван Семенович Прохоров...» И тоже может исписать этим дести и стопы бумаги, пока не отнимут у него карандаш. А третья, бывшая таперша, — если посадить ее к роялю и положить ее руки на клавиши, — будет играть час и два и три, до полного изнеможения, как машина, польки и вальсы, венгерки и падекатры.

Это явление называется стереотипией. «Мальчик у Христа на елке» — это было творчество. Но легионы мальчиков, замерзающих в буржуазных рождественских рассказах, — это уже была стереотипия. Первые наши «индустриальные» произведения явились результатом какого-то творческого освоения новых явлений нашей жизни. Но вслед за ними густо пошел всяческий стереотип. Например, очень частый, — особенно в пьесах, — треугольник из трех инженеров, из которых один — свой в доску, второй — свой уже лишь этак в полдоски, а третий — бесспорный вредитель. К этому треугольнику часто полагался гарнир из шляпы-директора, бдительных бодряг-комсомольцев. В это построение, как Дед-Мороз к верхушке елки, прилаживался старый рабочий Пафнутьич или Дормидонтыч. Потом эти персонажи стали стереотипом не в одних только индустриальных повестях и пьесах, — они стали кочевать, как своеобразные «Гаврилы» (см. излюбленный персонаж в стихах поэта, осмеянного в «Двенадцати стульях») из завода в вуз, из колхоза на новостройку. Три инженера становились в вузе профессорами («Гаврила старый был профессор, — он энергетику читал»), а в колхозе—агрономами, симпатяга Дормидонтыч был то университетским сторожем, то пасечником («Гаврила жил у нас в колхозе, — он был пчелиный педагог») и т. п.

В детских пьесах Гаврилы притворялись школьниками, — но это была унылая, многорожавшая детскость. В пьесах и повестях «о любви и дружбе» Гаврилы притворялись в любви и дружбе, но это была все та же стереотипная липа. Иногда Гаврилы показывали, как пастух становится академиком, но и это был стереотип, а в жизни это происходит неизмеримо интереснее, а главное — совсем не так. В кино Гаврилы очень любили мундир летчиков.

Одно время Гаврилы стали состязаться, кто скорее отдаст свою кровь на предмет переливания ее раненому герою.

Потом Гаврилы ловили шпионов и диверсантов.

Потом...

Но — довольно! Даже бестолковому Деду-Морозу уже и так все ясно. Напишем второе пожелание: ломка стереотипа.

III

Юноше, слепому от рождения, недавно оперированному академиком В. П. Филатовым и получившим полное зрение, врач показывает ножницы: «Что это такое?».

Юноша беспомощно отвечает: «Не знаю»...

—А ну, — потрогай! — говорит врач.

Юноша быстрс ощупывает предмет умными пальцами слепого, — и узнает старого друга:

— Ножницы! —

В комнату входит женщина, — она бросается к бывшему слепому и не может говорить от слез. Но он смотрит с удивлением и даже испуганно отшатывается от нее. Он ее не знает.

— Потрогай! — снова предлагает врач.

И, прикоснувшись пальцами к лицу плачущей женщины, юноша радуется: «Мама!»...

Так входит в жизнь прозревшего слепого мир, которого он не знал, или успел забыть. Как чудовища ослепляющие красками, громадностью размеров, — дома надвигаются на него, небо грозит обрушиться и задавить его...

А в пьесах и кинокартинах мир приходит к прозревшему слепому, как давно знакомая тетя Соня!

...Молодая слепнущая женщина диктует соседке по палате письмо к мужу. «Прошу не разорять хозяйства.., не изделаться над моими детьми и коровой... чтоб не было, как летось, когда я лежала в районной больничке, а дети баловались, а корова некормлена-непоена, из хлева выламывалась и по чужим огородам бегала»...

Когда она выходит из палаты, оставшиеся несколько минут молчат. Потом Катюша, молодая колхозная бригадирша, рассказывает о себе. Когда она ослепла на оба глаза, муж разлюбил и бросил ее. Она тоже плакала, горевала, — возможно, валялась у него в ногах...

Академик Филатов возвратил ей зрение. Она вернулась в свой колхоз, и люди пошли к ней толпами со всей округи, чтоб убедиться, восхититься чудом советской науки! Ее экзаменовали: «А ну, Катрю, подивись на те тополи, — который выше, который ниже?»

Когда все ушли, бывший муж Кати остался и сказал ей: «Чему ты меня обвинуешь, тому и я сам себя обвиняю... А?».

Это значило: давай, пусть все будет попрежнему.

Но Катя не посмотрела в его сторону и сказала сурово:

— Геть с моей хаты!

Возвращение зрения — одна из очередных модных ситуаций. Но показывается она авторами так же внешне, как последний фасон рукавов или новый оттенок лака для маникюра. Чаще всего, как простой сюжетный ход: вот был слепой, а вот он прозрел. Вчера снято, завтра готово...

А между тем за этой ситуацией — целый мир переживаний слепого, большой путь, проделываемый человеческой душой. И — большая эпопея советского ученого, пытливого, отваживающегося на труднейший и рискованный эксперимент, — его борьба с косностью и инерцией. И много еще всего...

Напишем третье и последнее желание: будем смотреть в корень. В сердце жизни. В скрытый смысл явлений. В глубокий мир мыслей и чувств нового человека.

Иначе все то, что мы пишем, будет всегда неизмеримо беднее этой новой жизни и этого нового человека.

Петр СКОСЫРЕВ

Блэк энд уайт

«Почему и сахар,
белый-белый
Должен делать
черный негр».

В. Маяковский

Недавно закончившийся разговор о книгах, посвященных Маяковскому, в выступлениях ряда писателей имел тенденцию превратиться в дискуссию о путях и судьбах развития советской поэзии.

Тенденция эта осталась лишь тенденцией, и дискуссию можно считать несостоявшейся.

Однако среди всех горьких истин, а порой и не менее горьких неправд, что наговорили друг другу участники разговора, прозвучала одна весьма горькая неправда о существе советской поэзии, обойти молчанием которую нельзя.

Эта неправда заключается в том, что понятие русской советской поэзии распространяется якобы лишь на так называемые оригинальные (хотя порой мы тщетно ищем, в чем же их оригинальность) поэтические произведения, а явления поэтического перевода под это понятие не подходят и должны быть вынесены как бы за скобки.

На обсуждении книг о Маяковском были вынесены за скобки не только советские нерусские поэты (как будто традиции творчества Маяковского не повлияли на развитие советской поэзии братских народов), но даже и те русские поэты, основным жанром поэтической работы которых является художественный перевод.

Можно подумать, что не упомянутые ни разу во время разговора о русской поэзии поэты-переводчики к современной поэзии никакого отношения не имеют и не имеют также никакого отношения к поэтическим традициям Маяковского.

Нелепая и горькая неправда.

Глубокий интернационализм Маяковского, пронизывающий буквально все творчество гениального поэта революции, и косвенно и прямо повлиял на появление в русской поэзии таких капитальных поэтических произведений, как «Джангар» в переводе Липкина, как новый полный перевод «Кобзаря», как стихи Кеминэ в переводе Тарковского, как «Давид Сасунский», как азербайджанская, казахская и армянская антологии, как собрание стихов Абая, впервые переведенных на русский язык группой талантливых поэтов-переводчиков, как переводы Джамбула, как стихи гениального туркмена Махтум-Кули, впервые ставшие доступными для советского читателя благодаря работе Марка Тарловского, как все те многочисленные книги поэтических переводов, каких за последние два-три года осуществлено больше, чем за два предыдущих десятилетия.

Когда «Илиада», в переводе Гнедича появилась в печати, Пушкин обратился к переводчику с гениальным двустишием, навсегда оставшимся в русской поэзии. Переводы из Мицкевича или Мериме осуществленные Пушкиным, доныне являются украшением русской классической поэзии и не меркнут рядом с другими перлами пушкинской музы. Значение для русской поэзии Жуковского до сих пор подтверждено для нас неувядаемой ценностью его поэтических переводов.

В истории развития русской поэзии появление тех или иных переводов с языков Запада всегда рассматривалось критиками, как крупнейшее событие именно русской поэзии.

Если бы можно было себе вообразить нашу литературу XIX в. без прозвучавших на русском языке Гете, Гомера, Байрона, Шекспира, Гейне, Мицкевича, Шиллера и др. классиков Запада, то и картина этого века в нашей поэзии оказалась бы совсем иной, чем она была на самом деле.

Национальная ограниченность и замкнутость поэзии ведет к ее застою. Как хорошо понимал это Горький, зачинщик и организатор издания «Всемирной библиотеки»! Как понимал это Брюсов — «Жуковский XX века»; как понимал это Маяковский и как не понимают этого порой иные наши поэты, критики и беллетристы, гадающие о судьбах русской советской поэзии и не замечающие крупнейших ее достижений, поэтических переводов с языков народов СССР.

Лишь глубокий интернационализм чувствований советского поэта, с такой страстностью и прямотой отстаиваемый Маяковским, помог молодому русскому поэту С. Липкину настолько глубоко вжиться в чувствования калмыцкого народа, что осуществленный им перевод «Джангра» ныне поется и читается в калмыцких улусах наряду и наравне с калмыцким оригиналом поэмы. Заметим кстати, что эпос является, так сказать, интимнейшим произведением народа, и проникновение в чужой эпос дается лишь тому, кто до конца изжил для себя деление народов и литератур на «блэк» энд «уайт».

Бесспорно также, что ритмы и формы стиха, найденные Липкиным для своего перевода, находятся в прямой зависимости от проделанной Маяковским революции в формах русского стихосложения.

Период, переживаемый ныне советской русской поэзией, войдет в историю русской литературы, как один из самых примечательных и ярких ее периодов. В какую другую эпоху, кроме советской, возможно то широкое и любовное внимание к явлениям национальных культур, какое проявлено нашими переводчиками в отношении к поэзии даже самых малочисленных народов нашей родины.

Грандиозность тематики современности обязывает советского поэта всемерно и всечасно обогащать арсенал поэтических средств и приемов, какими он пользуется. Глубоко интернациональная сущность нашей поэзии требует от каждого советского поэта знаний поэзии не только классической русской или западной, но и поэзии Востока. Не зная Низами, Алишера Навои, Руставели, Физули, Махтум-Кули, Кеминэ, не зная всех эмоциональных образных и тематических богатств «Джангра», «Давида Сасунского», «Эдиге», «Гесера», не обогатив арсенала своих поэтических средств и приемов средствами и приемами, какими пользовались лучшие поэты других советских народов, мы принуждены будем недостаточными, доморощенными, кустарными поэтическими приемами пытаться выразить грандиозные темы современности.

Искусство строить образ, каким столь блистательно владел великий узбекский классик Алишер Навои, несомненно поможет развитию образного мышления не у одного советского поэта, едва поэзия Навои станет таким же достоянием русской поэзии, каким стали Гейне, Гете, Байрон и другие великие учителя многих замечательных русских поэтов.

Перевод «Фархада и Ширин» Навои сделан Л. Пеньковским. В разговоре о русской поэзии нельзя обойти эту работу Л. Пеньковского.

Умению создавать обобщающий образ народного героя (оно необходимо нам, это умение) учит советских поэтов и «Давид Сасунский» и «Джангар» и «Кедей-хан» Токтогула.

В «150.000.000» Маяковский попробовал создать такой же обобщающий, почти фольклорный образ Ивана, и ему это не вполне удалось, может быть, именно потому, что Маяковский лишен был возможности знакомиться с патриотическими эпосами советских народов.

Для развития новаторских тенденций современной поэзии работа переводчиков, обогащающих советскую литературу новыми мыслями, образами, поэтическими приемами и новым пониманием явлений мировой культуры, призвана сыграть значительнейшую роль.

Следовательно, мы обязаны признать, что советская русская поэзия богата не только именами поэтов, какими занималась и занимается до сих пор наша критика; она не менее богата именами Липкина, Антокольского, Тарковского, Тарловского, Пеньковского, Звягинцевой, Панченко, Липскерова, Кочеткова и др., до сих пор в глазах критики остающихся какими-то «блэками» нашей поэзии.

Пора говорить об этом во всеуслышание.

Пришла пора отнестись к переводчикам, как к «уайтам». Сахар, какой они делают, — «бел-бел». Пора говорить о творческой индивидуальности каждого переводчика в отдельности, пора говорить о найденных ими приемах; пора говорить и об их ошибках в плане серьезного творческого разговора. Поэзия не может развиваться в отрыве от ведущих идей своего времени. Советская литература не может развиваться успешно, если не будет творчески освоена одна из центральных идей Ленина—Сталина, идея о сталинской дружбе советских народов. Нельзя серьезный разговор о путях и судьбах развития русской поэзии вести в отрыве от судеб и достижений литератур других советских народов и в отрыве от достижений советских переводчиков.

В. ПЕРЦОВ

О веселом эпосе и грустной лирике

Наша печать уже обращала внимание на то, что в известной части поэтической продукции 1940 г. слышны унылые, ноющие ноты. Следует также отметить, что поэты, зарекомендовавшие себя в истекшем году отявленными меланхоликами, оказываются большей частью в жизни молодыми удачливыми людьми, активистами-общественниками, добрыми гражданами нашей родины. Но как только дело доходит до писания лирических стихов, так ничто их больше не веселит: они мрачнеют или принимают разочарованный вид.

Все ноющие стихи, которые мне пришлось читать в наших журналах за сороковой год, — эпигонские. Читая их, я вспоминал откровенное признание старого поэта в ту пору, когда русская поэзия только возникала:

Часто прелесть в подражаньи
Милее, чем в природе нам:
Лесок, цветочек в описаньи
Еще приятнее очам.

Новые эпигонские стихи далеки не только от жизни, но и от поэзии, потому что настоящая лирика, выражающая чувства нового человека, не может не быть оригинальной и по содержанию и по форме.

Бывает и так, что один и тот же поэт держится по-разному в разных жанрах: в эпосе или в произведении на общественную тему он бодр и весел, в лирике или, вернее, в том, что ему кажется лирикой, он обязательно грустит.

Это характерно и для такого поэта, как А. Твардовский, который прочно вошел в наше сознание, как автор увлекательной «Страны Муравии». В минувшем году почти на всех лирических стихах А. Твардовского, связанных с темой деревни, лежала печать какой-то созерцательной меланхолии, элегичности, как будто поэт с большим чувством смотрит назад, а не вперед. В самом его удовлетворении по поводу пройденного нами пути и одержанных побед есть что-то умиротворенное.

И едва ль не впервые
Ощутил я в душе,
Что не мы — молодые,
А другие уже.

Что «уже»? Понять, конечно, можно, но сказано очень неловко. Однако дело не только в том, что инверсия в последней строчке ради не столь блестящей рифмы: душе — уже вызывает несколько комический эффект, который разбивает настроение, а дело в самом настроении...

В стихотворении «Братья» из цикла «Поездка в Загорье» автор вспоминает свое детство, убогие мечты братьев о разделе отцовского хутора и с удовлетворением созерцает рожь, покрывшую все прежние хуторские границы. Казалось бы, сравнение настоящего с прошлым должно привести автора в хорошее, радостное настроение. Оказывается, нет: концовка стихотворения типично и традиционно грустная, как бывало в прежнее время в стихах, в которых поэт высказывал сожаление о прошлом:

Ушло, прошло, забыто!
Давно, как пыль дождем,
К земле сырой прибито,
Пластом земли покрыто.
И дымным цветом жито
Цветет на месте том...

После того, как стихотворение было напечатано в «Звезде», автор, повидимому, почувствовал, что лирическая концовка ничего не завершает и что самая тема братьев, деливших отцовский хутор, повисла в воздухе. Тогда он добавил в новом варианте, напечатанном в «Новом мире», несколько строф о том, что делают братья сейчас в советской стране. Делить им теперь нечего, на всех всего хватает:

Налево и направо
Лежит во все концы
Свой край, своя держава, —
Служите, молодцы.

Стало быть, теперь в теме братьев, как будто «все концы» сведены, и все-таки упущено другое и очень важное для разрешения идейного и поэтического замысла стихотворения: как же выглядит новая жизнь в том Загорье, где росли братья? Но этого автор сказать не может, потому что тогда потеряет всякий смысл грустная концовка стихотворения, с которой он не хочет расстаться, — все-таки лирика!

Представление о лирике, как о чем-то неясном и обязательно грустном, приводит к пустым, безличным стихам, которые не запоминаются. А вот «Ленин и печник» А. Твардовского («Красная новь», № 4 1940 г.) — прекрасно рассказанная история. Это стихотворение сильно своей фольклорной основой, оно написано, как указывает автор, «по преданию». С превосходным юмором, который, к сожалению, покинул автора в его лирике, описывает он приключения печника, не признавшего Владимира Ильича во время его прогулки, а потом перекладывавшего для него печку в Горках.

После того, как печка была сложена, печник получил одобрение хозяина и был приглашен им к чаю.

По морозцу мастер вышел,
Оглянулся неспеша.
Дым столбом стоит над крышей, —
То-то тяга хороша!
. . . . . .
Не спала жена, встречает:
— Где ты, как — душа горит...
— Да у Ленина за чаем
Засиделся, — говорит...

Любовно рассказано о любви народа к Владимиру Ильичу, в стихотворении есть ясная поэтическая тема, которую, как мы видели, А. Твардовский никак не может найти в своем лирическом цикле.

Лирическая тема не получилась и у Александра Яшина в стихах, напечатанных в «Октябре». В одном из них поэт сравнивает себя с песочными часами, действие которых возобновляется, как только их перевернут:

Может, и смерть такая придет:
Друзья изготовят тесу,
А смерть тебя, как часы, повернет,
И снова несутся за годом год —
И нету тебе износу.

Неоправданная и совершенно неубедительная аналогия. И, несмотря на то, что поэт говорит как будто о том, что жизнь продолжается, — впечатление мрачное. Но тот же Яшин выступил в 1940 г. с поэмой «Мать» (изданной Гослитиздатом) и сюжетными стихами из жизни деревни.

В эпосе Яшин чувствует себя уверенно, знает, что он хочет сказать, и там, где он опирается на фольклор, говорит метко и талантливо.

В поэме «Мать» замечателен сюжет и характеры — подстать большому роману.

Если бы изобразительные средства в поэме Яшина были на уровне ее драматического конфликта и разработки характеров, то эта поэма стала бы крупным художественным произведением.

Замысел поэмы Яшина несравненно выше исполнения. Но уже в широком эпическом замысле виден талант автора.

О другой стороне таланта А. Яшина, о его связи со сказочной струей народного творчества говорят два великолепных стихотворения: «Шел к подружке парень...» и «Сватовство», напечатанные в «Красной нови».

В первом обработан чисто сказочный сюжет о девушке, которая вызволила своего утонувшего дружка, обманутого хитрой рекой. Попреки и причитания девушки, обращенные к злой реке, показывают в молодом поэте живое чувство языка и жанра:

Подоткнула ситцевый подол
И давай реку ведром вычерпывать.
Разливает воду по лугам,
А сама клянет реку —
Горюшница:
— Чтобы этим желтым берегам
На тебя, нечистую,
Обрушиться.
Чтоб тебя песками занесло,
Завалило бы гнилым колодником,
Чтоб и солнце впрок тебе не шло —
Будешь помнить
О моем, о родненьком.
...Как тебе не жить без ключевой,
Без воды,
Не шириться,
Не вырасти,
Так и мне, сиротке, без него,
Без любимого,
И дня не вынести...

Только в одном-двух местах Яшин соскальзывает в книжность. Например: «Изловлю веселую за **лапушки**» — так думает парень о встрече с девушкой. Но слово «лапушки» — скорее из лексикона старухи-няньки, а не парня.

В стихотворении «Сватовство» юмористическая сказочная обработка дана сюжету из современной колхозной жизни. Знатная колхозница Алена Фомина, которую сваты хотят увезти в свой колхоз, выступает в традиционной роли привередливой царской дочки старых сказок.

В стольной Вологде и дале
Фомину Алену знали,
И дородна и бела,
И умна и весела,
Вышла всем
И всем взяла...
Но у нас такая девка
На колхоз одна была.
Невеселые дела!
Положенье —
К богу в рай!
Плачь, а сватов принимай.

Замечательно удалось автору пародийное использование старой формы, которая наложена на новое содержание так, что несоответствие между формой и содержанием становится приемом, заставляющим острее почувствовать новизну нового:

Два угла одних девчат —
Хоть кого перекричат.

— Чтобы нашу-то Аленку
В чужедальнюю сторонку?!
Не таковский мы народ,
Всем укажем поворот.

Или в другом месте: в ответ на обращение к Алене председателя не выходить замуж за парня из другого колхоза, потому что колхоз не хочет лишиться такой работницы, —

Фомина глядит серьезно,
Достает платочек звездный
И помахивает им.

А развязка дается совершенно современная и не сказочная, а бытовая:

За деревней над прудом
В две недели вырос дом
Широченный, пятистенный —
Восемь окон,
Две избы —
С телефоном и антенной.
С целой выставкой резьбы,
С палисадом и двором —
Загляденье, а не дом.
Днем на этом новом месте
Разместил колхоз невесту,

А под вечер,
На закате, —
Кто в телеге,
Кто верхом, —
Наши сваты —
Тоже хваты —
Подались за женихом.
Пригласили жениха:
— Соглашайся без греха.
Никакой тебе помехи, —
Дел в артели—за глаза...
Согласился,
Переехал —
Даже слова не сказал.

Эту полную жизни картину из нашей действительности нарисовал тот же автор, который в лирических стихах разводит типичную хандру.

В вышедшей недавно книге С. Кирсанова «Четыре тетради» бросается в глаза то же противоречие между общественной и личной темой в его творчестве. В одной из «тетрадей» собраны все стихи на общественные темы, причем в этих стихах жизнь представляется лишенной всяких трудностей и только праздничной, а в двух других «тетрадях» об'единены стихи на тему о личном горе, причем это даже не стихи, а скорее дневник, угнетающий своей полной безысходностью. Характерно, что в этом дневнике Кирсанов очень часто отказывается от рифмы и пишет «белым стихом», ему совершенно не свойственным. Личный дневник занимает две тетради из четырех — это много. Но, повидимому, такое же место занимает тяжелая тема личного горя в сознании поэта, который мгновенно преображается и порхает беззаботным мотыльком, как только речь заходит о победах стахановского труда или о подвиге папанинцев,

Мы в приемник
Кренкелю
своей песней
тренькали:
«Если можно,
привезли бы
пробуравленный
насквозь
тот кусок
ледовой глыбы,
где прошла
земная ось;
...мы еще
от вас хотели б
получить
мешок метели
и привет
от медвежат,
что за полюсом
визжат!..»

Это, конечно, очень грандиозно, но если даже отнестись к этому, как к детским стихам, то и малым ребятам нужно сейчас по-другому рассказывать о жизни.

Тема личного горя, записанная в кирсановском дневнике с такими подробностями, от которых разрывается сердце, не стала от этого поэтической темой. И более того: возникает вопрос о праве автора публиковать свой личный дневник в книге стихов, т. е. поэтических произведений, которые, даже если они лирические, все равно ведь говорят не о частном, а об общем, поскольку это произведения искусства. Такой вопрос относится к подавляющему большинству напечатанного в разделах «Стон во сне» и «Последнее мая». Даже Жуковский, который, как известно, был мастером элегии на тему о преходящести всего земного, трактовал эту тему по-своему — оптимистически. Искусство не может пригибать человека к земле. Оно выпрямляет его — по этому поводу замечательно сказано у Глеба Успенского.

Этот общий закон большого искусства т. Кирсанов считает, повидимому, действительным только для произведений на общественную тему или для так называемой «агитпоэзии». Тут он напускает на себя такое благодушие, такое безмятежное веселье, как будто он — доктор, а мы, его читатели, — тяжело больные, которым запрещено всякое волнение.

Оттого, что С. Кирсанову чуждо в поэзии представление о том, что радость наших побед — это радость преодоленных трудностей, у него получается лакировка действительности и как раз в том разделе его новой книги, который озаглавлен «Чувство нового». Нужно отметить в этом разделе одну полную поэтическую удачу. Это — «Дума о Гуцульщине». В этом стихотворении революционная поэтическая мысль полновластно подчинила себе все средства покоренного языка. Найден замечательный образ единства советского народа с его единокровными братьями, только что вошедшими в семью советских республик. Украинец-политрук, пришедший с Красной Армией, освободившей Гуцульщину, показывает гуцулам, прославленным мастерам резьбы, свое мастерство в этом деле.

Не свести с узора глазу.
Шопот, тихий разговор.
Да как ахнут люди сразу:
— То ж гуцульский наш узор,
наши квиты с завитками,
навить нашими руками
скриз онс
ризано!—
И пошел по хате гул:
— Нет нигде такой оправы!—
Гуркотят:—Да он гуцул!—
Отвечает:—Я с Полтавы.—
Гимнастерку растегнул,
отгибает деловито
красный ворот, а под ним
во всю грудь рубаха шита
лугом сине-голубым!
Жинки смотрят на нее:
— То ж гуцульское шитье!—
Говорит товарищ чинно:
— На советской стороне
это вышила дивчина
из Черниговщины мне!

Через единство искусства и языка поэт раскрывает общность помыслов и устремлений трудового народа «от Полтавы до Карпат».

Каковы же причины этой разницы настроений в лирике и эпосе, которая особенно разительна, потому что она проявляется у одних и тех же авторов? Разве правильно, что как только поэт заговорит о себе, он наводит на нас тоску и приободряется лишь в об'ективном рассказе о нашей действительности?

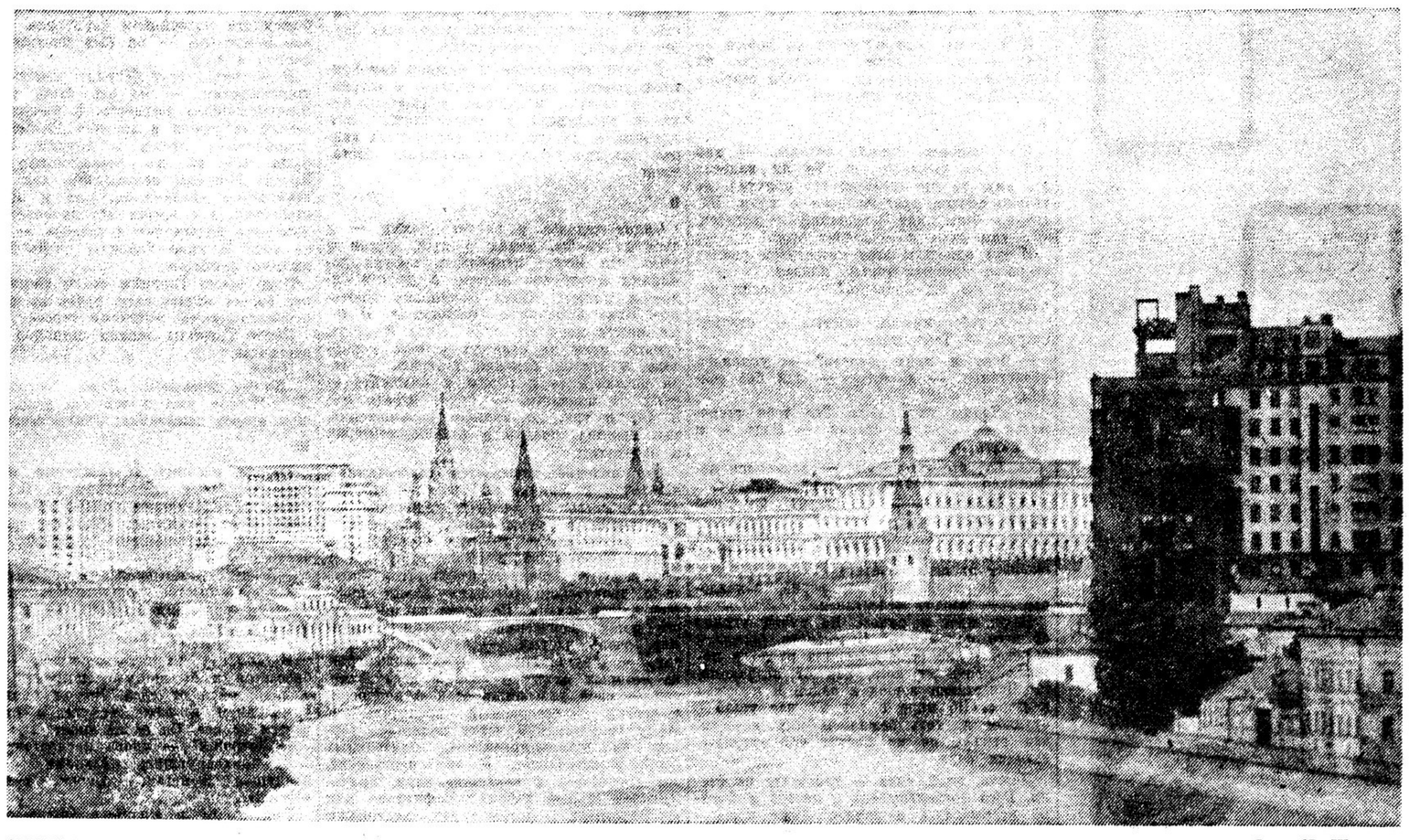
Мне кажется, что причины лирической меланхолии разные, и часто они своеобразно переплетаются у разных поэтов. Иногда меланхолия это типичная литературная поза. И в этом случае, даже если самому поэту и кажется искренней его тоска, это все-таки тоска литературного эпигона.

Но гораздо более общее значение имеет другая причина: отставание быта от общественной жизни. Пережитки прошлого сильнее сказываются в частном быту. Вот почему лирика, представляющая выражение интимных переживаний, — самый трудный участок нашей поэзии. Вот почему вопрос о так называемом «праве на лирику» — это для некоторых, как ни странно, вопрос о праве воспевать пережитки прошлого.

Пафосом нашей новой лирики является преодоление этих пережитков, преодоление разрыва между личным и общественным. В этой борьбе человека с самим собой могут быть трудные, тягостные моменты, и лирик не вправе скрывать их. Но лирический рассказ об этой борьбе и будет призывом к борьбе. Вот такое право на лирику, и веселую, и грустную в одно и то же время, на лирику жизнеутверждающую и героическую, заявлено поэзией Владимира Маяковского. И об этой традиции Маяковского мне кажется уместным напомнить сейчас, подводя итоги минувшего литературного года.

Петр Селынин

Поэма о маляре



МОСКВА

Фото И. Шагина.

I.

Пробудясь в дому всех раньше —
(Тишь. Заря плывет, плеща), —
Белой выкушав стаканчик
Для здоровья — натощак, —
Федя Мякин — гросмаляр,
Друг детей, поэт, зоолог,
Босиком, в одних кальсонах,
На лотке несет в амбар
Ежеутренний свой дар:
Тараканов в банке сонных,
Кости, воду, хлеб, траву —
Дар зверинцу своему.

Борода у Феди — божья,
Накрывает весь лоток.
На руках у Феди кожа,
Как на пятнах, — молоток.

Первым, кашляя, что дьякон,
Злой, зазеванный до слез,
Из тряпья вылазит Яков —
Самый подлый в мире пес.

Вор, обжора, обормот,
Даже водку, дьявол, пьет.
Не люби науку Федя, —
Быть бы Яшке на бобах!
От возмездия соседей
Спас его рассказ в газете
О рефлексах у собак.

На толчке купив звонок,
Пса маляр в амбар сволок,
По стене, закрытой толем,
Вывел суриком завет:
«Наблюдательность и воля —
Сестры истины. Привет!»

И утрами по часам,
Помахав звонком три раза,
Стал кормить собаку сам,
Как отмечено рассказом.

Но науке вопреки,
Сколько Мякин ни старался,
Пес чихал на все звонки
И попрежнему бросался
На еду, как дикий зверь,
Лишь входил хозяин в дверь.

Точно Байрон — вслед за Яшкой —
Гордый, мрачный, тайны полн,
Бороздя крылами пол,
На зеленой деревяжке
Ковыляет ворон Фрол.

Без ноги, едва живой,
Был он найден под Москвой,
И его приветил Федя
Для проверки долголетья.

И последний зоожитель
Появляется тишком,
Словно пуганный мешком, —
Синеухий кролик Митя.

С этим был особый план:
Поселить его с совою,
Чтоб у той инстинкты зла
Заглушились добротою.

Но до сей поры, увы,
Не сыскал маляр совы.

Накормив зверинец свой,
Вымыв бороду, пригладясь,
Федя в робе трудовой
В путь выходит по прохладе.

Воробьи на влажных ветках
Скачут в розовых жилетках,
Ошалев от брызг зари.

Во дворах и в палисадах,
От клопов сбежав пузатых,
Спят, как в поле косари,
Всех цехов мастеровые:
Хлебопеки, кузнецы,
Слесаря, ткачи, портные, —
Все великие спецы,
Многодетные отцы.

Вон под елкой, меж цветов,
Закопченный, меднорукий,
Как медведь — всегда здоров,
Спит борец с огнем Орлов —
Тоже верный друг науки.

Беспокойный садовод.
Он упорно третий год
Тыкву скрещивал с арбузом,
Чтоб придать ей больше вкуса.

Дело шло: стеклом прикрыт
У пожарника послушно,
Как на старте шар воздушный,
Пух страшенный плод-гибрид.

Погрозив козлу-бродяге,
Что от скуки тапки грыз,
Федя рощей Службы тяги
Направляется на ЗИС.

Все стрекочет. Благодать!
В самый раз стихи слагать.

И спешат бегом, бегом,
Как веселые щенята,
Вперегонку, кувырком
Строчки сказки кудреватой.

До работы путь далек —
Будет хлопчикам стишок.

— Жил да был на белом свете
Волк — буржуй, злодей.
Ездил, сукин сын, в карете,
Угнетал зверей.

К дню рожденья своему
Захотелося ему
Свой дворец в лесу роскошный,
Где решил он справить пир,
Изукрасить всевозможно
В королевский стиль вампир.

Маляром в том неком царстве,
В том зверином государстве
Заяц был Кузьма —
Опытный весьма;
Глаз имел, как ватерпас,
И пройди он должный класс,
Да живи на легком хлебе,
Из него бы, может, Репин
Выбился как раз.

На работе тигром был,
Все умел и все любил.

Волк послал к нему прораба
Африканского арапа —
Попку Абдул-бей
(Зесь багряный, ровно с бойни,
Голос матерный, пропойный):
— Так и так, пятьсот рублей,
Обчежитье, стол бесплатный,
Можем дать аванс изрядный,
Крой пишь поскорей!

Зайцу стало мутно, лихо,
Но от бедности великой, —
Не исчесть заплат! —
Все же взял подряд.

А потом переменился
Даже рад был под конец,
Что без спору согласился —
Шутка ли — дворец!

Может, он всю жизнь страдал,
По таланту дело ждал,
И теперь свершилось чудо —
Добрый час настал.

Ладно, влез Кузьма на крышу,
Привязал себя к трубе.
Только начал красить — слышит:
— Кузя, смерть идет к тебе!..

Содрогнулся малярок —
Кто б сказать такое мог!

Видит: птичка-невеличка,
В пожилых летах синичка
(Не вертушка вроде, значит,
Что привыкла всех дурачить)
На коньке сидит резном
С горестным лицом:

— Мне сейчас вот, тока-тока,
Губернанка их — сорока,
Проминаясь у моста,
Рассказала на французском,
Что с тебя, мон шер, закуску
Сделают гостям.

Зашатался заяц Кузя,
Покатилась кисть из рук,
Сразу вдруг озябло в пузе
И затмилось все вокруг.

Сесть хотел он, но упал
И чуть слышно прошептал:

— Да, синичка — друг, планида.
Хуже некуда, кажись.
Тут им, гадам-паразитам,
Украшаешь жизнь,
А тебя за то под ноготь.
Нет, не верю больше в бога,
Зря я столько лет подряд
Пил нелепый этот яд!..

Начал Кузя думать думу.
Думал час, а может два, —
Облысела голова.
И надумал: сполз без шуму
К башне каменной угрюмой
И взялся писать скорей
Двух охотников на ней.

Каждый — в сажень, разозленный,
Ружья о семи стволах, —
Изо всех огонь зеленый
Прыщет, свищет, — трах-тах-тах!

Весь свой дар Кузьма вложил
В эту мощную картину,
Исхудал наполовину,
Выбился из сил.

Кончив труд, свалился с ног
И уснул от всех тревог.

А очнулся — что за черт!
Жив, здоров, все кости целы,
Солнце ласково печет,
Рядом зайцы ходят смело.

Делегаты от зверей:
От кротов — шахтеров добрых,
От швейцромщиков — ежей,
От учащихся — мышей
И от прочих — самых дробных,
Кузе ропу в пять пудов,
Улыбаясь, преподносят
И сказать народу просят
Речь о гибели волков.

Тут синичка в кутерьме
Все поведала Кузьме.

Как уснул он, к дому волка
Гости с'ехались ордой,
Потекла рекою водка,
Пир пошел, как смертный бой.

А когда все гости в дым
Нахлебались, что верблюды
Волк-злодей предложил им
Поглядеть закат отсюда.

— Мод, узреете красу
И сурприз вам поднесу.

А сурпризом тем богатым
Ты, мон шер, служил для гадов.

Но увидя двух стрелков,
От кошмарного испуга
Возопив, давя друг друга,
Банда вся свалилась в ров.

Остальное, — глянь-ка сам...
Глянул вниз Кузьма меж башен —
А из всех злодеев там
Просто гречневая каша.

Так искусством и трудом
Заяц справился с врагом!

Кузя речь сказал народу,
Что дворец роскошный сей
Он дарит под культработу —
Клуб здесь будет для зверей.

В том дворце я тоже был,
Мед-вино с Кузьмою пил,
Звал его к себе в бригаду,
Да народ не отпустил...

Так веселым садом сказки,
Стихотворною тропой,
Музой доброю обласкан
Мякин путь свершает свой.

Вкруг него гремят трамваи,
С ревом мчат грузовики,
Словно сваи забивая —
Громыхают бутуги.

Но стихами оглушен,
Ничего не слышит он.

II.

Всякий раз, пройдя между цехами
И узрев на горке в стороне
Здание с простертыми крылами,
В палевый обряженное камень,
Добрый как будто на луне,
Федя крякал, точно выпив пива,
И, усы разгладив горделиво,
Удивлялся ловкости людей,
В душах их живущей красоте.

Господи, да это ж разве клуб! —
Балерина, песня, птица-лебедь!
Музыкой дохни из чистых труб —
Улетит, растает в тихом небе.

И маляр скорей, почти бегом,
Без пути шагает прямиком
Через мусор, бревна, битый камень,
Словно в самом деле этот дом
Может сняться, вспугнутый гудками.

В залах сыро. В сумраке соборном
Верстами из окон потолка
Размахнулись и, как с выси горной,
Льются солнца дымные шелка.

И уже минуту утерпеть
Трудно Феде Мякину без дела, —
Сердце словно начинает петь
И в тревоге сладкой ноет тело.
Так вот в детстве на качелях вдруг
Близость неба занимала дух.

Надо всю бы подождать бригаду,
Да намылить шею малярам, —
Штукатуры третью смену кряду
Проскочили наперед вчера.

Но пока сойдутся маляры —
Тут вся кровь сгорит до той поры.

На лесах под куполом гудящим
Разом усмирен и ублажен
Плеском кисти, запахом дурящим
Красок, солнца, ветра из окон,
С огненной от охры бородою,
Федя рассуждает сам с собою.

— Есть же люди странные на свете, —
Могут жить без пользы, не у дел,
И ведь — главное — довольны этим,
Счастьем называют свой удел.

Дураки, запухшие в тепле,
Первой радости не знают на земле!

Вот его бы кто-нибудь позвал
Ну, наркомом, к примеру, и сказал
— Федя, хочешь — получай мильон,
Спи, гуляй, кури себе сигары,
Езди на курорты, как барон,
Покупай любые промтовары,
Но при том железный уговор:
Жить тебе без дела с этих пор!

Может, это дико для кого, —
А вот он не взял бы ничего.

Федя вспомнил прошлогодний отпуск, —
Пальмы, моря пламенную синь,
В подкебесье санаторный корпус,
Шпилями цеплявший туч-резинь.

Вспомнил двух уральских сталеваров —
Мудрецы, седые, в орденах;
Академия наук не даром
Совещалась с ними о делах.

Вместе жили в комнате одной
И сдружились — не разлить водой.

По-началу было все в охоту:
Загорали до седьмого поту,
Пили из целебного ключа,
Без конца дивились на природу,
Танцовали даже сгоряча.

Через эти танцы под луною
Сталевар один болел спиною.

А у Феди — стыдно говорить —
С дамочкой смешливой из Казани —
Этакая — с губками, с глазами,
Вроде что-то начиналось быть.

Мякин шляпу, тросточку купил,
Чуть уж было бороду не сбрил,
Но приехал футболист одесский
И встречаться больше стало не с кем.

Так, на глупости, туда-сюда
Первую неделю разменяли

А потом, как будто чуть устали, —
Меньше стала нравиться еда
И в ключе вода пошла не та.

К середине же второй недели
Сталевары вспомнили старух,
Перестали бриться, похмурели,
Все взялись критиковать вокруг.

— Нет, шалишь, брат, хоть природа наша
С виду покорявей, победней,
Так зато она внутри, брат, краше —
Сколько руд, угля, грибов, зверей.

А из пальмы шубу не сошьешь,
С ней, брат, на морозе пропадешь!

Ну, а горы — только что для глаза,
Век долби — песок да ерунда.
Вот у нас, брат, горы, это — да,
Колупнешь ногтем — с кулак алмазы.

А завод — двенадцать верст длиной,
Закричит — в Москве слыхать чертягу.
А какие печи, боже мой!
А народ — отборный, в деле злой,
Раз уж вцепится — назад ни шагу!

Выйдешь это утречком из дому
По морозцу золотому в цех,
Встретишь сразу тыщи три знакомых,
Отряхнешь с усов, как сахар, снег,
И любая грусть твоя, истома
Пропадет, забудешь вся и всех!..

Феде тоже что-то очень скоро
Часто стала чудиться Москва, —
Маляры, ребята, Яшка, ворон.
И заныла комаром тоска.

Уж хотелось, подойдя к окну,
Обругать мордастую луну.

А как третья началась неделя,
Сталевары потеряли сон,
Наорали дважды на сиделок,
Выбросили к бесу патефон.

— Это ж не житье, — собачьи муки!
День-деньской без отдыха с утра
Ешь да пей, да спи, как сыч со скуки.
Для чего же человеку руки —
Это понимают доктора!!

И до срока за двенадцать дней
Самолетом, чтобы поживей,
Бритые отлично, укатили,
Трахнув об-земь брому две бутыли.

В ту же ночь украв свой чемодан,
И маляр залез в аэроплан.

Нет, не взял бы ни за что на свете
Хоть и десять миллионов Федя!..

Щурясь и к перилам отступая,
Чтоб вернее увидать тона,
И мохнатым басом распевая,
Алый, как в театре сатана,
Третий час маляр под потолком
Пишет шелк меж бронзовых окон,
То — не шелк, то — пламени стена.

Ведь не зря же звеньем гросмаляр
Сам себя он величал, как титлом,
Живописцев даже изумлял
Федя роскошью своей палитры.

Под рубахой шевелится ветер,
Кажется, купаешься в реке.
Где-то во дворе играют дети.
До чего же славно жить на свете,
Видеть солнце в каждом пустяке!

Что же будет после на земле, —
Через десять, через двадцать лет,
Как подохнут все тираны мира,
Все попы, заводчики, банкиры —
Злобное отродье саранчи,
Трудового люда палачи!

Вот когда, очищенный от мрази,
В первый раз для всех людей родной,
Засмеется мир — просторен, ясен,
Всей своей счастливой красотой.

Каждый час казаться станет людям
Чудом, праздником и, может быть, тогда
Самым страшным наказаньем будет —
День прожить без песен и труда!

Мякин видит голубя в окне, —
Белая, с высокой грудью птица,
Сделав плавный круг, легко садится
На кирпичной заводской стене.

И мечты его тотчас гурьбой
В даль бегут излюбленной тропой.

А наука — вот уж расцветет,
Все узнает, до всего дойдет!

И в те годы непременно Федя,
Брэма шесть томов забрав с собой,
Для науки в Африку поедет,
Есть вопрос — ответственный, большой.

Там работу где-нибудь найдет
На строительстве театра иль больницы.
Негры — шустрый, сметливый народ,
С ними он сумеет сговориться.

И, конечно, уж помогут дружно,
Им самим ведь это очень нужно.

А вопрос такой: из всех зверей,
Что без толку бегают на воле,
Люди только мизерную долю
Приручили для нужды своей.

Да и те не главные отнюдь,
Надо тут внимательней копнуть!

Вот хотя бы взять на первый случай
Крокодила рассмотреть получше.

Жрет детей да баламутит Нил,
Неграм — только страхи да заботы.
А ведь, может, этот крокодил
Годен для какой-нибудь работы.

Брэм вот ездил же на нем верхом,
Складывая ноги калачом!

Чтобы не болел и не худел,
Дать ему занятье при воде,
Скажем, бревна с берега катать,
Или пусть Эпрон его обучит
Из глубин предметы доставать, —
Зверь-то вроде лошади могучий.

Ну, а лев, а тигр, а носорог —
Тоже силой не обидел бог.

Должен ничего не пропустить,
Все обшарить: небо, землю, воды —
И себе на пользу обратить.
Человек — великий сын природы.

Чтобы все работало, творило,
Настоящей дельной жизнью жило!

Дальше, обезьянами заняться
Также надо будет по пути.
Эти звери, если постараться,
Если к ним научно подойти,
Может, явят миру чудо чуд,
Может, в люди выйдут через труд!

Это фабриканта иль попа
Сделать человеком невозможно,
А у зверя нет ни библий ложных,
Ни мешков с деньгами, — голытьба!

Начинать же лучше с пустяков, —
С игр всего разумнее, пожалуй,
Нарубить в лесу им городков —
На, швыряй покуда палки, балуй.

А потом дать дело посложней —
Ну, дрова пилить, копать картошку.
И, глядишь, захватит их, чертей,
Влюбятся в работу понемножку.

Что к чему начнут соображать,
Говорить научатся, читать,
А потом уже пойдут, пойдут...
Все на свете может сделать труд!

Толстый рев заводского гудка,
Сотрясая своды потолка,
Обрывает размышленья Феди
Громогласной вестью об обеде.

И маляр спускается с лесов...

III.

Густеет неба синева
Меж рдяных облаков.
Гремит, гудит, звенит Москва
На тысячу ладов.

Окончен день труда, забот,
Назавтра — выходной.
Заняв все улицы, народ
Торопится домой.

Еще весь вечер впереди —
Умыться, отдохнуть,
А там — театры и сады,
К друзьям веселый путь.

А если срок пришел любить —
В придачу ночь дана:
Вдвоем под звездами бродить,
Хмелея без вина.

Трамваи охают, трещат,
Кондукторши — в поту.
Мальчишки гроздьями висят
И скачут на ходу.

Кому-то встали на мозоль
Железною пятой.
С моралью штраф берет контроль
У зайца с бородой.

С кого-то пуговки долой,
К чертям, все до одной!

Автомобилям счету нет, —
У постовых, бедняг,
Зеленый, красный, желтый свет
Мешается в очах.

В метро — полно, но, как всегда,
Народ спокоен тут, —
Уж в этом царстве никогда
Людей не подведут —
И в зной, и в дождь, и в лютый снег
Доедешь скоро, без помех.

Дрожит копченая листва
От дачных поездов.

Гремит, гудит, звенит Москва
На тысячу ладов...

Довольный, что устал добротно
И, значит, день прожил не зря,
Не торопясь, в рубахе потной,
Идет маляр через Охотный,
Как старым радуясь друзьям —
Домам, в которых он когда-то
Чего-чего ни малевал:
Орех и мрамор, и металл,
Амбары голые — в палаты
Своею кистью превращал.

Таких друзей по всей Москве —
И что ни дом — поэт, мыслитель,
У Феди было сотни две, —
Один другого знаменитей.

Хватало с кем поговорить,
Поразмышлять и пошутить.

Вон, словно улицы запев,
Чуть ни под брюхо туче ржавой
Двенадцать этажей воздев,
На всю страну блистая славой,
В цветных полотнищах зари
Гостиница «Москва» горит.

Полгода Мякин здесь писал —
Полгода княжил-пировал.

Теперь со всех, со всех сторон
Земли — работницы великой,
От самых крохотных племен,
Разноязыкий, разноликий
Сюда с'езжается народ
И в дружбе праведной живет.

Хороший, мудрый дом, раздольный,
Москве — приличная родня! —
И Федя хлопает ладонью
Его, как доброго коня.

А вот еще один приятель,
Недавно сбросивший леса,
И тоже — величав и знатен,
Двухсотметровый корпус «А».

Язык такому б дому дать,
Да он о красоте и силе
Сумел бы лекции читать,
И всякий сделался б красивей.

А уж какие люди тут:
Вожди, ученые, герои,
Писатели, — и как живут! —
Летают, мыслят, бьются, строят.

Вперед глядят через года,
Орлы, богатыри труда.

Из уваженья к их делам,
Маляр всегда здесь — строгий, чинный, —
Снимал с себя картуз старинный,
До лоска вытертый по швам.

Ученых взять — все мировые;
Один титан столетний есть, —
Уж еле ходит, худо ест,
Очки на нем давно тройные,
Как будто круглый инвалид,
А не сдается, нет, творит!

Микроб малейший, самый ловкий, —
Ну, кажется, не взять, уйдет,
А он его стеклом прижмет,
И тот сидит, как в мышеловке.

Красивый, дерзкий человек,
Забрал не даром целый век!

А на писателей взглянуть, —
А вдруг да здесь, без лишних мнений, —
Живет такой гигантский гений,
Кому все классики — по грудь.

Сейчас он, скажем, молодой,
Еще настраивает лиру,
А вот расширится душой,
И, может, загремит над миром
Не Лев, а целый Слон Толстой.

И так работу воспоет,
Что мертвых зависть заберет!

В такой стране, с такой столицей
Грешно не гением родиться.

Распив в ларьке бутылку пива
За здравье дома и жильцов,
Маляр опять неторопливо
Идет по улицам крикливым,
Богат, как царь, могуч, пунцов.

И снова перед ним встают
Его дома — то там, то тут.

И даже Кремль — Москвы родитель,
Восьми веков обросший мхом,
Всемирной радости строитель,
Был с кистью Федькой знаком.

Здесь пережил маляр такое,
О чем и краской и строкою
На небе впору написать,
Чтоб и дома могли узнать.

Вставал молочный день весны;
За гребнем призрачной стены
Москва мерцала еле-еле
Из бездны мглы и тишины.

Но вот, как будто в небе где-то,
Запел гудок, за ним другой,
И волны золотого света
Столкнулись гулко с сонной мглой.

И все кругом, раскрыться силясь,
Запенилось и заклубилось.

Дома к Кремлю рванулись вброд,
Вдруг оступаясь с головою;
Внизу, как сытый кашалот,
Лениво мост блеснул спиною;
Косматым чудищем на миг
МОГЭС дымящийся возник,
А справа — в облаке багряном —
Дворец Советов поднял краны.

В тот час маляр невдалеке
Увидел Сталина. — Без шапки,
С потухшей трубкой в кулаке,
Стоял он озаренный, жаркий,
Перед пылающей Москвой,
Теперь уже раскрытой настежь,
Как пред плавильной печью мастер,
И слушал город трудовой.

И. СЕМПЕР.

На пороге нового года

Июньские события не застали эстонских писателей врасплох, не выбили их из колеи. В течение последнего двадцатилетия подавляющее большинство литераторов находилось в оппозиции к буржуазным правительствам Эстонии, а наиболее сознательные даже организованно выступали против буржуазии (например, группа «Тарапита»). Такие писатели, понятно, не пользовались расположением власть имущих, и официальная пресса не упускала случая обвинить их в пессимизме, в стремлении к излишнему подчеркиванию отрицательных сторон жизни, а то и в большевизме. Последние буржуазные правительства избрали несколько иную тактику: они старались задабривать писателей, оказывая им материальную поддержку, официально отмечая их заслуги. Но на такую удочку попадалась лишь незначительная часть писателей, в то время как остальные понимали истинный характер подобных приемов и знали им цену.

Можно смело утверждать, что большинство членов прежнего союза эстонских писателей искренно, горячо поддержало социалистическую революцию. Немало писателей активно участвовало в подготовке событий. Немало их товарищей присоединилось к ним, чтобы принять непосредственное участие в политической и общественной жизни Эстонии. Многие из них, не покладая рук, работают теперь в правительственных учреждениях, редакциях и издательствах. Вся их энергия направлена на то, чтобы общими силами преобразовать лицо страны, заложить основы новой, социалистической культуры.

Перелистывая любую книгу, написанную хотя бы год назад и изображающую совсем недавнее прошлое, замечаешь, какая пропасть возникла между вчера и сегодня! Какими странными и наивными кажутся порой самому автору его прежние взгляды на жизнь, какими робкими были его мечты, какими ограниченными — надежды. Действительность далеко превзошла все мечтания. Поэтому понятны причины, побудившие писателей принять самое горячее участие в создании нового строя. Разве возможно в такое время стоять в стороне от живой жизни и «вытачивать» образы на основе своих прежних представлений и прежнего опыта?

Не подлежит сомнению, что произведения, которые появятся в ближайшее время, будут проникнуты новым отношением к жизни и к ее проблемам. Вступая в новый год, полезно оглянуться на ряд пройденных лет и попытаться оценить, или, вернее, переоценить их.

На протяжении трех последних десятилетий в эстонской литературе существовали как бы два полюса, между которыми колебалось художественное творчество этого периода. С одной стороны, направление, созданное «Молодой Эстонией», в программных требованиях которой делался упор на изощренности формы и повышении формального мастерства, а с другой стороны — выдвинутый писателями лозунг «приближения к жизни», лозунг, особенно настойчиво зазвучавший лет десять тому назад.

Первому из этих направлений эстонская литература обязана гибким, богатым оттенками языком, развитым чувством стиля. Но вместе с тем эстетический уклон, доведенный до крайности, завел эстонскую литературу в тупик, поскольку место **правды жизни** заняли стилизация, миф, далекая от жизни романтика.

Реализм в эстонской литературе — явление не новое, начало ему было положено еще в конце прошлого века. И когда лет десять тому назад младшее поколение писателей вновь подняло лозунг «близости к жизни», им двигали добрые побуждения: за эстетическими покровами трудно было разглядеть жизнь, — их нужно было сбросить, чтобы увидеть подлинную действительность, со всеми ее противоречиями.

Но под вывеской неореализма в литературу начал просачиваться некий оппортунизм, реакционный натурализм. Вместо художественного отображения общественных противоречий, как в прозе, так и в поэзии, появилось беспринципное протоколирование фактов, унылый, серый репортаж. Некоторые писатели лозунг «близости к жизни» восприняли как требование моды. Они писали романы и драмы, переделывая их при последующем переиздании в соответствии с изменившимися запросами господствовавшего в литературе вкуса. Поскольку в произведениях этих «реалистов» не было настоящей идейной направленности, то изображенные ими картины жизни, в которых порой проскальзывали даже социальные противоречия, лишены были перспектив исторического развития, в них не указан был выход из этих противоречий. Таким образом, близость к жизни нередко означала близость к господствующим вкусам и настроениям. Правящие круги к подобному реализму относились весьма одобрительно. Новый год явится для эстонских писателей, несомненно, годом переоценки их прежней работы.

Когда после некоторой неизбежной паузы писатели, ныне призванные к напряженной деятельности в различных областях строительства, снова займутся литературой, то окажется, что пережитое за это время многому их научило. От периода организационной работы они вернутся к литературному труду, полные веры в светлое будущее человечества, научившись видеть в свете марксизма-ленинизма процессы, происходящие в общественной жизни. Они поймут, что литература — не забава, не роскошь, а служение трудовому народу, жизнь которого она отражает. В социалистическом обществе писатель прежде всего служит делу воспитания нового человека, и, связанный этой задачей, он впервые, действительно, свободен, поскольку задача эта отвечает внутренней потребности каждого передового писателя.

В новом, 1941 году эстонская литература вступает в круг братских советских литератур, на новый плодотворный путь, полный света жизни и радостного труда.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Стекольный мастер

Бабка Ганя жила на околице в маленькой светлой избе. Ганя была одинокая,— единственный ее внук Вася, работал в Гусе-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок граненые синие стаканы, а для украшения — маленькие, выдутые из стекла самовары, туфельки и цветы. Выдувал он их сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце, и бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости, и она — высокая, суровая — позволяла им издали смотреть на эти волшебные вещи, завиловать и вздыхать, но в руки ничего не давала.

— Вещь эта хрупкая, как ледок — говорила она. — Неровен час — сломаете. Руки у вас корявые, картуз держать не умеете, а тоже пристаете — дай подержать, да дай потрогать. Их держать надо слабо-слабо, как воробышка, а нешто вы так можете? А раз не можете — так и глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавами носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались легким блеском. Изредка, когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они даже звенели долго и очень тонко, как будто разговаривали между собой о чем-то своем — стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил рыжий пес по имени Жек. Это был старый, уже беззубый, но очень застенчивый пес. Он прятался от посторонних под печку, лежал там и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком, — посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных разностях, пожаловаться на старость.

— Я, милый, совсем слаба стала, ничего почитай и не ем, — говорила она. — Воробей — и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать удивительную бумагу в сельский совет. Она диктовала ее сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, очень трудно.

— Пиши, сердечный, — сказала она. —Пиши в точности, как я тебе скажу. «Я, Агафья Семеновна Ветрова, жительница села Окоемово, сообщаю сельскому совету, что в случае неминучей моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю моему внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки и сами такие руки себе наживают. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а этого для человека мало. Он, колхозник, обязан знать еще и какое ни на есть мастерство.

Внук мой такой мастер, что только землю и небо не сделает, а все прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой — не-женатый, не-пьющий, борони бог, чтобы он жука обидел — не то, что человека. Боязно мне, старой, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу советскую власть не оставить его заботой, чтобы дар, даденный ему с малолетства, не затих, а все большал и большал для людской радости. А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжелого стекла некоторую вещь, — называется она по-городскому рояль, а у нас в селе ее сроду не видывали и не слыхали. Это свое мечтание он изложил мне и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу — помогите ему, чем можете. А собаку Жека пусть заберет аптекарь Иван Егорыч, — он к зверям ласковый.

Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту странную бумагу, Жек сидел у стола, тревожно смотрел нам в глаза и вздыхал, — чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула ее в чистый ситневый платок, поклонилась низко, по-старинному, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем — художником уехал на лодке на Прорву — глубокую, тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, — ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки низко провисали над головой и хрустели, — на них лежал тяжелый, крупный иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось притрагиваться, — ветки, топор, котелок — было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии седых от инея лугов и зарослей подымалось бледное солнце, и мы не узнавали Прорву, — все было присыпано белой морозной пылью. Пыль поблескивала в утреннем свете.

Только к полудню иней таял, и луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как листва, поздние цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной, белые, будто засахаренные ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез теряли ночной серебряный налет и шелестели под необыкновенно ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вылез дед Пахом. Он собирал в мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю, — все-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

— Почтение! — сказал дед. — Никак я в толк не возьму, чего вы тут делаете, сердешные. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай, и за чаем дед завел трудный разговор о витаминах.

— Одышка у меня, — сказал дед.— Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, вылумываешь ни весть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

— Чего? — спросил я.

— Ну, тмины там какие-то советуют потреблять. Настой из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу — она у нас сплоховала.

— А что?

— Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую паневу надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу, помирать еще ни к чему. Вы от меня, голубчики, еще наслушаетесь всякого разговору, жалеть не будете.

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидел на своем веку много болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

— Раз родились, — говорил он, — все одно помрем. Чего тут стараться! Главное — угадать надо, чтобы в свой час помереть, — не ране срока, да и не заживаться на свете без надобности.

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто, — все ушли на огороды копать последнюю картошку.

На крыльце ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лег на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза. Это с ним всегда бывало, когда он извинялся.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу, — ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду, и я впервые увидел белый рязанский шушун, новенький черный платок с альими цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую паневу.

Дед неосторожно наступил на шаткую половицу и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

— Вечный спокой, — сказал дед и стащил с головы рваный картуз. — Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха, строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая картузом лицо:

— Ты чего же недоглядел хозяйку, дьявол косматый?

Жек, опустив голову, робко помахивал хвостом. Он не понимал, зачем на него сердятся. Что он мог поделать, чем помочь, — он и так два дня не отходил от Гани, лизал ей руки и смотрел в глаза.

Когда мы выходили из избы, — в нее уже пришли две соседки-старухи, — дед показал мне на миску со щами и хлебом, — она стояла на полу около печки.

— Ишь ты, — сказал он и улыбнулся.—Сама не ела, а собаке, хоть и помирала, а пищу оставила. Постаралась. Верно я сказал, — справедливая была старуха.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на ее могилу и рассыпали по ней накрошенный хлеб — для воробьев, зябликов и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай — кормить птиц на могилах, чтобы на стареньком кладбище всегда было весело от птичьего гама и щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика — болезненный, «квелый», как говорили по деревне, — но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало, — больше слушал и улыбался.

Мы долго не решались расспросить его о стеклянном рояле. Заветная его мечта казалась немного смешной и неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали, разгораясь, березовые дрова, мы наконец спросили его об этом рояле.

— У каждого мастера, — ответил Вася и застенчиво улыбнулся, — лежит на душе мечтание сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер.

Вася помолчал.

— Разное есть стекло, — сказал он.— Есть грубое — бутылочное и оконное, а есть тонкое свинцовое стекло. По-нашему оно называется флинтглясс, а по-вашему — хрусталь. У него блеск и звон очень чистые, оно играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно, — очень он был хрупкий, ломкий, требовал осторожного обращения. А теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Самый тонкий стакан из такого хрусталя можно с мороза бросить в котел с кипятком — он никак не лопнет. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

— Прозрачный? — спросил я.

— Вот об этом-то и разговор, — ответил Вася. — Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нем красивое. Но, несмотря на то, что рояль прозрачный, это устройство только чуть-чуть будет видно.

— Почему?

— А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатления, ежели он видит, как она происходит.

— Ну, что ж, пожалуй, верно, — согласился я.

— Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотизной, — сказал Вася. — Или с серебряным отливом. Только вторые клавиши сделаю из черного хрусталя, а так весь рояль будет, как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня возможностей нет и воображения рассказать вам, какой это должен быть переливчатый звон. Да вы и сами понимаете.

С тех пор до самого васиного от'езда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Землю засыпало мохнатым снегом, дни стояли пасмурные, мягкие. В сумерки мы выходили в заснувший сад. На снег еще падали изредка последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой — праздничный, сверкающий, поющий так чисто и печально, как может петь только родниковая вода, переливающаяся по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот прозрачный рояль. Он отражал пламя витых желтых свечей, отражал старинные портреты композиторов, тяжелые золотые рамы, снег за окнами, серого кота, — он любил сидеть на крышке рояля и, наконец, черное бальное платье молодой певицы и ее опущенную маленькую руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

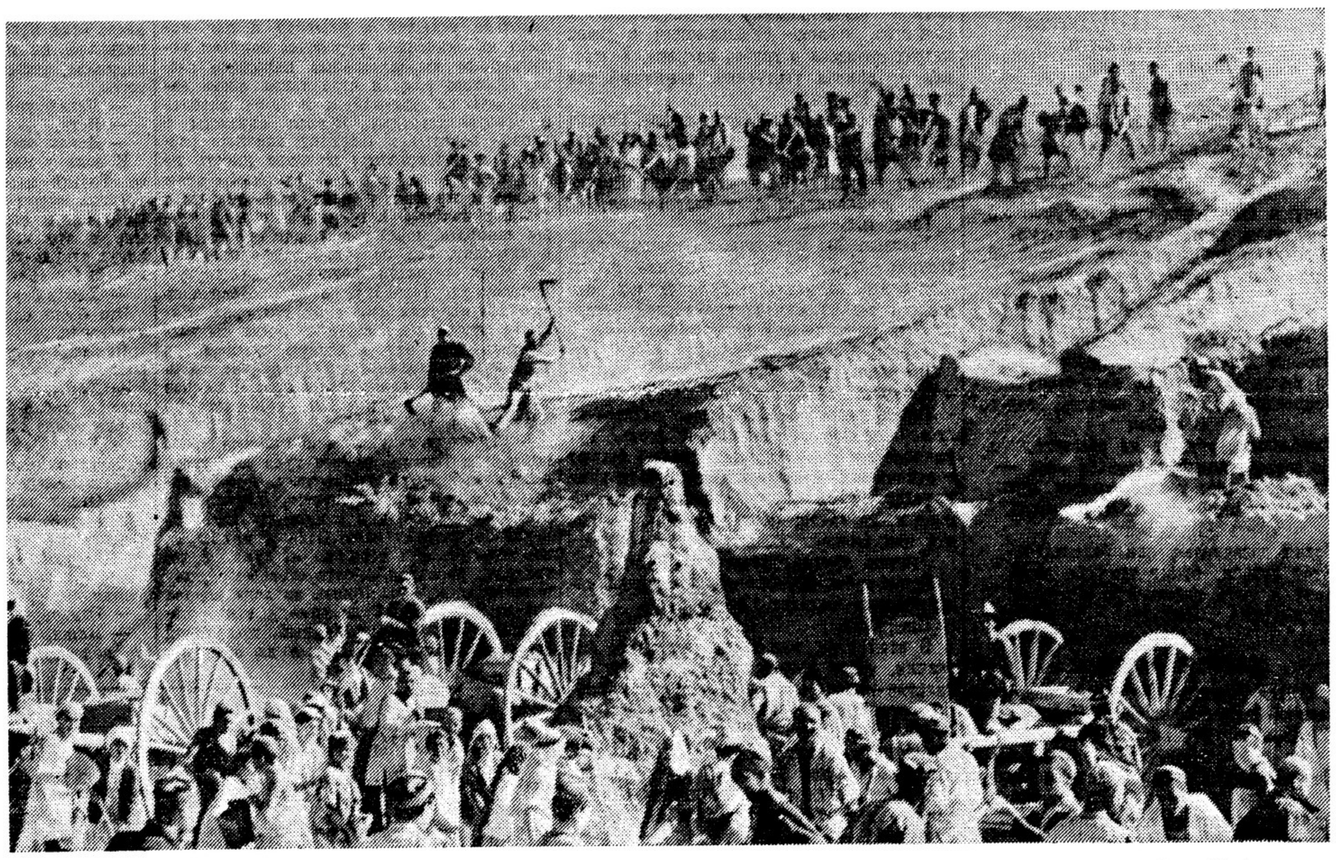
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то странное и чудесное «стеснение» в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Все гуще падал снег, засыпал могилу бабки Гани, и все сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась нам теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени, гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

■ ■ ■



НА СТРОЙКЕ КАНАЛА

Фото М. Альперта.

К. ЧУКОВСКИЙ

Невидимки

I.

Хотя в литературе уходящего года было немало ошибок и неудач, все же мне хочется помянуть эту литературу добром, так как не раз появлялись в ней книги, доставлявшие мне радость.

Я говорю не о прославленных книгах. Мне хочется с благодарностью вспомнить те книги, о которых я не прочел в современной печати ни единого доброго слова.

Каждый месяц у меня на столе появлялось несколько таких книг-невидимок, и я радовался им в одиночку или вместе с другими читателями, так и не дождавшись того, чтоб нашу читательскую радость разделили рецензенты и критики.

Вот, например, обойденные критикой книги, которые я прочитал за последние дни.

Книга Якова Минченкова «Воспоминания о передвижниках». Талантливая, блещущая горячими красками, книга. Покуда я не читал ее, передвижничество было для меня почти отвлеченным понятием. Теперь эта алгебра наполнилась живыми людьми, и даже самые бесцветные художники —например, Лемох или Шильдер — здесь изображены с незабываемой яркостью. Многим писателям следовало бы поучиться у Минченкова мастерству литературного портрета (см., например, его характеристики Репина, Куинджи, Дубовского, Мясоедова, Поленова).

К сожалению, те писатели, которым я рекомендовал прочитать его книгу, говорили:

— Но ведь это о живописи!

В их словах для меня обнаружился странный порок многих и многих современных писателей. Они почему-то считают, что живопись их не касается. Гоголь не отделим от Александра Иванова. Гаршина нельзя себе представить без Ярошенко и Репина. Для Горького каждая картина того или иного большого художника нередко бывала событием. А нынешним литераторам кажется, что, например, история передвижничества — то есть целый этап в истории русской культуры — «не по их специальности»!

Книга Минченкова — неровная, порой дилетантская, но в ней — бесценный биографический и бытовой материал, разработанный темпераментной, сильной рукой, и пренебрегать ею никак невозможно. Большая заслуга автора, что он с жарким сочувствием выдвинул именно те черты передвижничества, которые созвучны советскому восприятию искусства.

II.

Вторая книга, прочитанная мною недавно и доставившая мне огромную радость, это — «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна в изумительном переводе А. Франковского. Стерн так причудлив, многостилен, изыскан, что перевод его произведений на русский язык казался мне до сих пор невозможным. Те переводы, которые существовали до настоящего времени, были клеветою на Стерна. Тонкие и гибкие фразы превращались в какие-то бревна. Так что в сущности до настоящего времени мы совершенно не знали одного из величайших писателей Запада, могущественно влиявшего на нашу словесность (начиная от Радищева и кончая Толстым).

Перевод Франковского есть реабилитация Стерна. Сила этого перевода — в необыкновенном богатстве изощренных тональностей речи, в пластике языка, подчиняющегося малейшим прихотям стерновской мысли, в тех капризных переходах от умиления к юмору, которые до сих пор не удавались ни одному переводчику. Вообще книга издана превосходно, с чудесными иллюстрациями и очень неплохим предисловием. Жаль только, что в предисловии не сказано о русском стернианстве, о влиянии «Сентиментального путешествия» на целые поколения русских людей.

III.

Третья книга была получена мною из Львова.

Это — «Збір винограду», книга стихов украинского поэта Максима Рыльского, лучшая из всех его книг. Мы часто налепляем на писателей ярлыки: «символист», «акмеист» и т. д. и из-за этих ярлыков не замечаем писателей. На Максима Рыльского критики давно уже наклеили ярлык: «неоклассик», и теперь, когда заходит речь о его сочинениях, пишут не столько о нем, сколько о наклеенном на него ярлыке. Пишут, повторяя друг друга, о его строгой, «кованой», классической форме, о его пристрастии к старинным терцинам, октавам, сонетам. Одни хвалят его за это, другие бранят, не замечая, сколько свободы и страстной лиричности вносит он в эти закостенелые формы. В своей книге говорит он не только об огромных вещах; ему дороги и малые темы: о рыбной ловле, об охоте на вальдшнепов, о вобле, об огурцах, о собаках, о старом шкафе, который он видел когда-то ребенком в родительском доме, но даже эти заурядные образы, чуть только они попадают к нему на страницы, становятся у него поэтичными, словно мы видим их в детстве — глазами пятилетних детей. Именно тем и сильна его лирика, что она влюбляет нас в мир. Такое счастливое дарование у Рыльского: о чем бы он ни говорил в своих стихах, в каждом его образе чувствуешь «солнце и сердце». Его книгу можно бы назвать книгою счастья. Иногда это счастье выражается у него в торжественном гимне (прекрасны стихи, посвященные Сталину, освобожденной Западной Украине), иногда — в юмористической усмешке, иногда — в прославлении тех заурядных вещей, которые делают для него жизнь прекрасной,— но в каких бы формах ни изливалась у Рыльского радость, он никогда не говорит о ней фальцетом. Всюду — искренний, простой, человеческий голос, с горячими, живыми модуляциями.

IV.

В поэме «Любовь» Рыльский пишет: «Все слова — певучие струны, если они под смычком настоящего мастера. Ведь железобетон и чугун, воспетые Павлом Тычиной, прозвучали таким псалмом, какого иные из нас не сложили бы, взяв и более утонченные материалы».

Эта характеристика украинского поэта Павла Тычины стала мне понятна лишь теперь, когда я прочитал его стихи в русском переводе под редакцией Николая Брауна. Эта книга (Павло Тычина. «Избранные стихи», М. 1940) тоже не встретила почему-то широкого гостеприимства у критики. Между тем, даже в той поневоле несовершенной копии, которую дают переводы, чувствуется своеобразное очарование поэзии Тычины. Очарование это заключается в кажущейся хрупкости, легкости, зыбкости, нежности, призрачности, которая, если всмотреться, оказывается такой же массивной и прочной, как чугун или железобетон. Похоже, что видишь поблескивающий в утреннем небе голубовато-серебристый самолет,— и как удивляешься, когда, снизившись, он является тебе смертоносною крепостью. К сожалению, в переводе иногда ослабляется именно эта вторая особенность поэзии Тычины. Например, в «Пісні під гармонію» он говорит:

Пам робити **да врагів бити,**
а в переводе читаем:
Мне учиться, **тебе лениться.**

Надеюсь, что «лениться» совсем не то же, что «бить врагов».

Конечно, со стороны переводчика здесь нет никакой злонамеренности, но энергия подлинника сильно ослаблена. Впрочем, перевести Тычину — нелегкое дело, и необходимо признать, что несмотря на кое-какие провалы, советские переводчики справились с этой задачей. «Иванек Телесик» в переводе С. Маршака, «Как мы писали письмо Коцюбинскому» в переводе Николая Асеева, «Детство Туманяна» в переводе В. Звягинцевой, «Партия ведет» в переводе Н. Ушакова, некоторые переводы Всеволода Рождественского, М. Комиссаровой, Н. Брауна завоевали для Павла Тычины несокрушимые симпатии русских читателей. Жаль, что в книжку «Избранных стихов» не включен перевод замечательной «Пісні про Кірова»:

Зелен сад-виноград,
Славне місто Ленінград!
А які твої слова
Про Сергія Кірова?

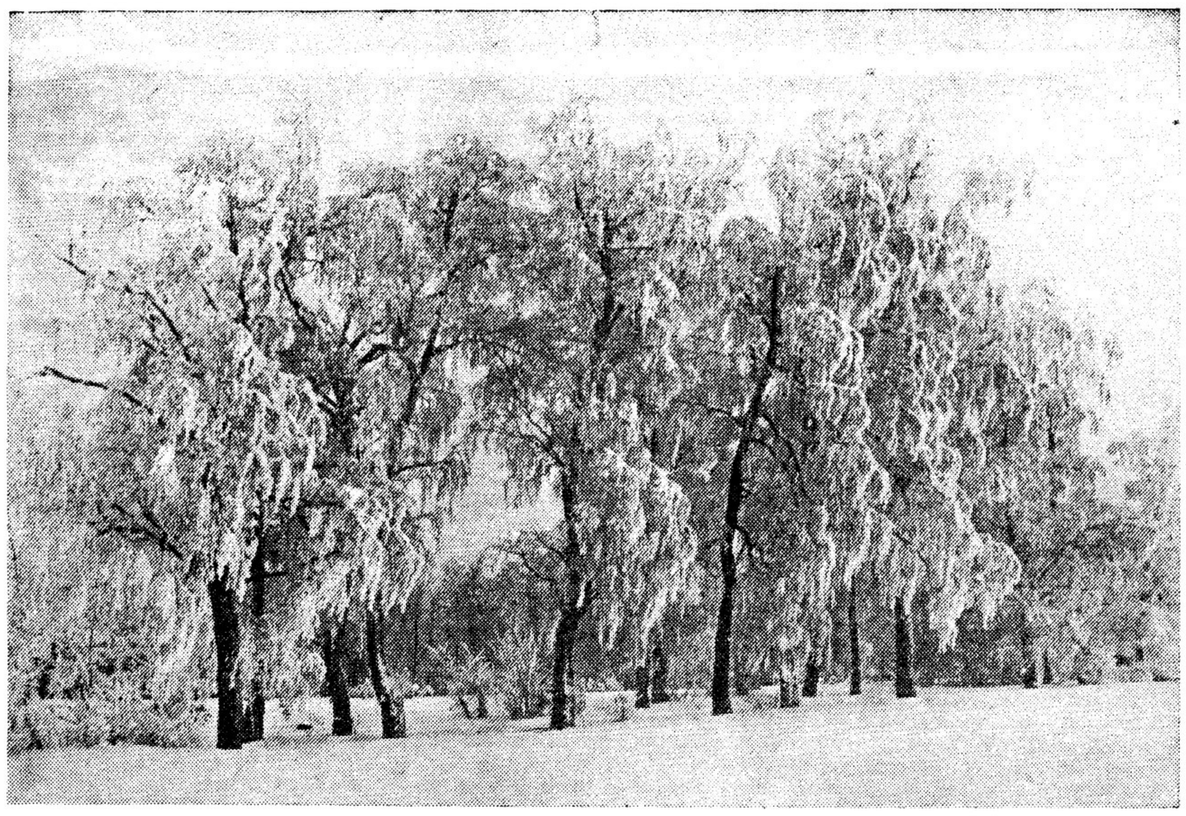
Между тем эта «Пісня» имеется в отличном переводе Григория Петникова.

V.

Что касается ряда ценнейших литературоведческих книг, изданных в 1940 г., их наша критика попрежнему продолжала замалчивать, ибо до сих пор еще не научилась писать на эти увлекательные темы для широких читательских масс. Словно это тоже — не ее «специальность». Даже об избранных произведениях В. Г. Короленко, так любовно и талантливо проредактированных А. Б. Дерманом для Детиздата, мне не довелось прочитать ни одного полноценного слова. Сухие монотонные отписки. Между тем это издание, хотя и предназначено оно для детей, чрезвычайно ценно и для взрослых: оно расширяет и обогащает наши знания об одном из величайших праведников русской литературы, оно дает нам возможность по-новому понять и полюбить большого художника, «с большим, в три обхвата, сердцем».

Но и работа Дермана прошла незамеченной.

Мне, читателю, это кажется ненормальным и странным. Мне хотелось бы, чтобы о каждой нововышедшей книге профессиональная критика сообщала мне свое авторитетное мнение. Так и поступали встарину все журналы: и «Библиотека для чтения» (Сенковского) и «Отечественные записки» (эпохи Белинского). А теперь у критиков установился обычай направлять все свои прожекторы на какую-нибудь одну (может быть и превосходную) книгу, и озарять ее сотнями тысяч свечей, а прочие книги остаются во мраке, и во мраке остается читатель, часто не знающий, что из них выбрать. Эту практику пора бы прекратить. Я вспомнил только те книги, которые мне довелось прочитать в ноябре — декабре. В течение года таких книг наберется, пожалуй, три или четыре десятка. Не могу понять, почему прошла незамеченной книга Голубова «Из искры пламя» (о декабристах), вышедшая в том же Детиздате. Почему первый том русских сказок, вышедших под редакцией и в обработке А. Н. Толстого, встречен был общим молчанием. Критиковали только заглавие — действительно очень неловкое — но о большой работе, проделанной в этой книге А. Н. Толстым, не сказали ни единого слова.



ЗИМА

Фотоэтюд В. Кинеловского.

А. РАСКИН, М. СЛОБОДСКОЙ

СТРАНИЦЫ СТЕНОГРАММ

Если бы вы знали, как это было трудно! В других организациях все как-то проще, а у нас...

Казалось бы, ну, что особенного новый год? Ну, дата! Ну, елка! Ну, надо встречать. В конце концов ничего ужасного в этом нет. Но у нас...

Прежде всего выяснилось, что категорически нехватает одной комиссии. Среди десятка постоянных комиссий Союза писателей и сотни юбилейных комиссий не оказалось самой простой, самой маленькой — новогодней комиссии. И вот у нас...

Впрочем, что говорить. Это было страшно, мучительно трудно провести в Союзе писателей подготовку к встрече нового года.

Только сознание сложности работы, проделанной группой энтузиастов-активистов, только здоровая оценка всей серьезности преодоленных этой группой препятствий позволили ей, этой группе, превозмочь врожденную скромность и дать авторам этих строк благосклонное разрешение на освещение в печати некоторых фактов, связанных с подготовкой к встрече нового года в Союзе писателей.

Однако, приняв на себя этот благодарный труд и ознакомившись со стенографическими отчетами, авторы поняли, что малейшая обработка этих документов была бы кощунством, и потому позволили себе произвести лишь монтаж стенограмм различных заседаний и только кое-где дать ремарки, необходимые для полноты картины.

I.

Итак, в середине декабря 1940 года стал вопрос о подготовке к встрече нового, 1941 года.

Важнейшим этапом подготовки к встрече нового года была разработка развлекательно-увеселительных мероприятий. Отрывки из соответствующих стенограмм позволяют восстановить некоторые эпизоды этой работы.

Идет заседание актива. Обсуждается важный вопрос — оформление елки и помещения вокруг нее.

— Я думаю, — говорит некто, — елку надо повернуть лицом к молодому писателю. Неплохо бы повесить портреты молодых литераторов, снабдить их бодрыми, руководящими эпиграмками. Скажем, хорошо бы повесить... товарищи, кто у нас явление?

— По-моему, Яшин — явление.

— Что вы! Яшин еще не явление. Если вы хотите настоящее явление, возьмите Щипачева.

— А он — явление?

— А как же, типичное явление.

— А вдруг нет?

— Не спорьте, товарищи, Щипачева нельзя вешать. Он не молодой.

— Гм. Позвольте, кто ж тогда явление?

(Здесь мы пропускаем 20 страниц стенограмм, соответствующих пяти часам заседания, и даем кусочек последней страницы).

— Толстой — явление?

— Лев — явление.

— А Алексей кто вам? Ну, кто?

— Алексей — тоже явление. Не молодой. Нельзя.

— А Крымов? Вот это да.

— Уже был. Он в прошлом году был.

— Позвольте, Шолохов — явление, но не молодой. Островой молодой, но не явление. А если Леонид Соловьев, а?

— Явление, но не молодой.

— Позвольте, он же был молодой.

— Вырос... Кто же все-таки? А?

(Стенограмма оборвана. Вопрос, видимо, остался открытым).

2.

Другая группа активистов новогодней комиссии обсуждает программу самодеятельности.

Первый активист. Итак, товарищи, кто что может предложить?

Второй активист. Хорошо бы живые картины. Скажем так: герой пробуждается...

Председатель. Товарищ, прекратите немедленно!.. Знаете, хорошо бы под новый год сказку.

Второй активист. Верно, Красная шапочка, лес... домик...

Председатель. Попрошу без намеков. Перейдем к играм. Ну, для поэтов и прозаиков у нас уже кое-что есть, а вот, как быть с редакторами?

Второй активист. Редакторам можно в моргалки

Голос с места. Про!

Председатель. Что вы имеете в виду?

Голос с места. Проморгалки.

Второй активист. Да, но у нас ведь будут гости, скажем, театральные работники, им ведь тоже надо играть.

Председатель. Найдем. Ну, хотя бы горелки.

Голос с места. Про!

Председатель. Что?

Голос с места. Прогорелки!

Председатель. Товарищ, вы срываете. Не срывайте, товарищ! Идем дальше.

(Здесь мы обрываем стенограмму, так как собравшиеся перешли к рассмотрению текстов и новых игр, которые частично приводятся ниже).

РЕПЕРТУАР,

рекомендованный для художественной самодеятельности.

Степан Короткий

Творчество

Там стеклышко, затоптанное в глину,
Там звездочка... А дождик—там и тут.
Всего важнее написать не длинно,
Тогда невольно до конца прочтут.

Мечта

Хочу я быть снежинкой и пушинкой,
Порхать и таять, таять и порхать.
Я был Степан, а зацвету кувшинкой,
Был Щипачев, — начну крылом
махать.

Восторг

Я серый волк! Нет, я Степан-паревич,
Заранее мне прощены грехи.
За много лет впервые У-си-е-вич
Понравились, смешно сказать, сти-хи!

О любви

Влюбленные гуляют на рассвете.
По звездам вижу: их судьба ясна —
Пройдет весна, у них родятся дети,
Для тех детей придет своя весна.

Проблема

Врачи излечивают нам болезни.
Кует кузнец, сучит ткачиха нить.
Хочу я быть полезней и железней!
Чини-и-ить! Пая-ать! Чи-и-нить,
пая-ать, чи-и-нить!

ДЕВИЧЬЕ РАЗДУМЬЕ

(Из стихов Варвары Хохловой, поэтессы, рожденной и погубленной С. Кирсановым)

С оченьмалодуманья, с оченьмногопишенья
Портится цвет лица, делаешься лишняя.
От быстрописания, от вездепечатанья
Со мною происходит что-то непечатное.
Ты менятакую словокрутку выдумал,
Думаешь, что я отдельной книгой выйду, мол,
Обрядил и выкрутил, как девушку на выданьи,
А меня печатают с ничегоневиденья.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ГЕРОЯ

Во сне я увидел статую,
С ней рядом стоял на посту я,
Разут и раздет.
Сжимая пакет.
Стоял, гой-еси, протестуя.
Кричал я, волненьем об'ятый:
— Я все-таки сокол чубатый,
За что ж на меня
Средь белого дня
Кидается беркут крылатый.
Он взял нехорошую моду,
Ни слов, гой-еси, ни подходу.
И сам не поет,
И мне не дает
Ни лету, ни ползу, ни ходу.
Я скромен, но все же не я ли
Обязан сказать, что читали
Повсюду мой труд
И даже вот тут.
Четыре строки одобряли.
Я знаю, Сурков и Адалис
Вот этой строфой зачитались.
И дворник Свищев
И кто-то еще
И много других восхищались.
Прочтите! Ведь вы же скульптура,
Продукт материальной культуры...
Статуя прочла,
И краска сошла
С лица и с прекрасной фигуры.
— Скажите, ведь правда я сокол?
Но дева молчала жестоко.
Я влез на курган,
Я поднял наган
И статую тут же раскокал!

ИГРЫ

Бабки.

Придуманы рядом наших популярных драматургов. Играют главным образом актрисы второго и третьего положения. Играют без особого творческого под'ема и ролей даже не учат. Все известно заранее. Ведущие реплики: «П-и, мать моя! Ты бы хоть покушал чего-нибудь! Молодежь-то нынче! Не то, что в наше время... Ох, что ж это я расселась? Ведь пирог-то небось пригорел давно!»

Выиграть в этой игре очень трудно.

Лошадки.

Очень веселая игра, любимая забава подростков из журнала «Литературная учеба». Правила игры следующие: берутся наугад две лошади из различных литературных произведений, скажем Троянский конь у Гомера и Холстомер у Льва Толстого. Затем пишется статья: «Гомер и Холстомер», где автор должен определить черты тождественные (и там и тут лошадь, хвост, четыре ноги, одна голова и пр.) и противоположные (Троянский конь — олицетворение рабовладельческого общества, коварно скрывающего в своих недрах произвол и грубое насилие. Холстомер — символ угнетения, типичный для царской России).

Чем все это глупее, тем лучше. Статья сдается в редакцию и в некоторых случаях игра заходит так далеко, что читатели «Лит. учебы» получают возможность ознакомиться с ее результатами.

Горелки.

Чрезвычайно жестокая, по мнению ряда театров, игра. Не будем портить людям настроение ее детальным описанием. Напомним только начало популярной песенки, сопровождающей игру:

«Горю! Горю! Ясно?»
Все ясно, товарищи.

Жмурки.

Редакторская игра. Редактор садится за стол, ему крепко завязывают глаза. Тут начинается самое веселье. Авторы бегают с рукописями и стараются попасть в руки к редактору. Последний хватает кого попало и, не глядя, должен угадать, хорошо это или плохо.

Угадать трудно. Печатают наугад.

Примечание. Журнал «Литературный современник» выходит 12 раз в год.

Пятнашки.

В этой игре, как ясно уже из ее названия, самое важное запятнать. Все остальное не так важно. Играют в пятнашки очень часто без соблюдения всяких правил, даже правил приличия. Так еще интереснее. Незаменима при дискуссиях.

Кошки-мышки.

Творческая игра детских писателей. Играют в нее так: все садятся за стол и пишут.

Кошки-мышки
Кошки-мошки
Кошки-Машки
Пиш! Киш! Миш!
Ишь! Ишь! Ишь!

и далее в том же роде, пока не надоест (читателю).

Да и нет.

Помните эту старую, глупую забаву?
Что хотите, то купите,
Да и нет не говорите!

Теперь она немножко модернизирована:
Что хотите, то прочтите,
Да и нет не напишите!

Товарищи критики! Не надо играть в эту игру. Что у вас, других игр нет, что ли?

ЗАГАДКИ, ГОЛОВОЛОМКИ

Задача-шутка.

Двести семь писателей в течение пяти дней обсуждали книги о В. Маяковском. Спрашивается: сколько лет Твардовскому?

Уравнение-шутка.

Сто мужчин + одна девушка = «Музыкальной истории».

Загадочная картинка.

См. кинофильм «Светлый путь».

БУРИМЕ № 1

(для авторов песен)

Мы . . . . . весна
Мы . . . . . цветет
Мы . . . . . страна
Мы . . . . . вперед
И . . . . . платочек
И . . . . . слезу
И . . . . . чуточек
И . . . . . в грозу

БУРИМЕ № 2

(для переводчиков)

. . . . . батыр [1]
. . . . . лал [2]
. . . . . Кайтумыр [3]
. . . . . Джелал [4]
. . . . . Тулпар [5]
. . . . . Кетчуб [6]
. . . . . Бен-Захар [7]
. . . . . Рупь [8]

1) богатырь, 2) жемчуг, 3) название селения, 4) восточное имя, 5) легендарный конь, 6) особое восточное кушанье, 7) восточное имя, 8) восточная монета.

Опубликованные выше материалы отнюдь не дают полной картины всей проделанной работы, но тем не менее наглядно свидетельствуют, что и у нас подготовка была развернута во всю ширь. С новым годом!

Михаил ПРИШВИН

МОИ ТЕТРАДКИ

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Некоторые мои читатели время от времени просят меня написать рассказ о такой любви мастера к своему ремеслу, чтобы им можно было поучиться. Желая ответить читателям, много перебрал я в своей памяти всякого рода мастеров в разных областях науки, искусства и техники, таких замечательных, что я, как мастер слова, им не гожусь и в подметки. Но все-таки из всех мастеров для примера я выбрал себя, потому что себя самого я знаю лучше других. И пусть мне дано не так много, и мой талант не так велик, — любви к своему делу я имел не меньше их и могу всякого поучить, как надо беречь свой талант.

Что это значит, талант? Однажды весной я подумал об этом, и вот вижу, на высокой елке, на самом верхнем ее пальчике сидит маленький птичик. Я догадался, что птичик этот поет, потому что клювик его маленький то откроется, то закроется. Но такой он маленький, птичик, что песенка его до земли не доходит и остается вся там наверху. Птичик этот крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славила птичку. Так я тогда в этом птичике и нашел ответ себе на вопрос: что такое талант. Это по-моему, есть способность делать больше, чем нужно только себе: это способность славить зарю, но не самому славиться.

Вот еще, что я думаю о таланте: эта птичка поет не только у поэтов, музыкантов и всякого рода артистов; в каждом деле движенье к лучшему непременно совершается под песенку такой птички. Я знал одного башмачника по имени Цыганок в Марьиной роще. Крыша в его домике развалилась, — ему нет дела до крыши; штаны износились спереди — ничего, закрывается фартуком; просиделись сзади штаны — опять ничего, закрывается другим фартуком сзади. Но какое мастерство! Я только потому не привожу его в пример, что он вином зашибал. О мастерстве этого Цыганка легенды сложились. Рассказывают, будто в прежнее время приехала к нему в Марьину рощу из Парижа настоящая француженка, и мастер сделал ей две пары башмаков. Одну эту пару француженка в грязь окунула, чтобы вид получился для таможни ношенный, другую пару завернула в газету, свою же, парижскую, бросила. По приезде в Париж она очищает грязную пару, продает и окупает все расходы по этой поездке в Марьину рощу.

Сколько в жизни своей видал я таких мастеров и думаю теперь, что артисты бывают не только в искусстве: всякий артист, кто делает свое дело под пенье птички...

Было это давным-давно, я в то время не писателем был, а служил агрономом в имении графа Бобринского. Однажды на молотьбе услыхал я разговор и для памяти на спичечной коробочке записал услышанные выразительные народные слова. С этого разу я стал такие слова записывать на чем-нибудь и дома вносить в особую тетрадку. Занося однажды с клочка бересты в тетрадку какой-то разговор, я почувствовал желанье писать не о чужих словах, а о себе самом. За этим писаньем прошло у меня часа два, и с тех пор начинаю я свой день с того, чтобы записать пережитое предыдущего дня в тетрадку. Год за годом проходили, исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку, и так собиралась моя драгоценная словесная кладовая. Никакие сокровища в свете не могли бы возместить мне эту кладовую записанных слов и переживаний, хотя я из нее очень мало беру для своих рассказов. И не раз я очень многим рисковал, чтобы только спасти свои тетрадки.

В 1909 году вздумал я поселиться прочно в селе Брыни, привез туда всю свою, годами собранную библиотеку, и все, какое у меня было имущество. Случился в этом селе пожар, и я увидел его на охоте верст за пять от села. Пока я прибежал, все село было в огне, но я, думая о тетрадках, бросился бежать к своему дому в такой жаре, что, помню, на ходу увидел чей-то вытащенный из дома диван и подивился, как он, деревянный, при такой жаре не загорается. Смотрю на свой каменный дом: еще цел, но занавески горят и лесенка на террасе дымится. Вбежал я в дом, бросился к тетрадкам, схватил их и чувствую, секунды больше остаться нельзя, наклониться нельзя вон к тому чемодану, где лежат деньги и белье, нельзя шубу вытащить из сундука. Так, с одними тетрадками вылетел и на ходу видел, что тот диван, на который я обратил тогда свое внимание, теперь горел, как свеча. А когда с тетрадками прискакал в безопасное место, увидел, что весь мой дом в огне.

Так все и сгорело, и остались только тетрадки, да заяц в печке, в чугунном котелке, прикрытом вьюшкой. Собирая серебряные комочки, в которые превратились наши ложки, мы обратили внимание на этот котелок, и уцелевший в печке заяц был нашей первой радостью после такого большого несчастья. Так все дочиста у меня сгорело, но волшебные тетрадки сохранились, и слова мои не сгорели.

Нес я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов за собою всюду, и раз они выручили меня из еще большей беды, чем пожар. В 1919 году пришел к нам в Елец Мамонтов и предал наш родной город мечам и пожарам. Какой-то офицер Мамонтова, прослышав о моем пребывании в городе, решил спасти писателя от большевиков и прислал за мною двух казаков. Им была дана инструкция, переговорив со мною, сделать вид, будто они меня арестуют: это на случай, если Мамонтов провалится, меня не обвинили бы в добровольном побеге. Все было мне сказано тихо и вежливо. «Сейчас они вежливы,— подумал я, — но если я откажусь, то, может быть, сделают свое и невежливо, и понастоящему арестуют меня...»

— Благодарю вас, — ответил я, — повремените немного...

Весь этот разговор был на Манежной улице, а тетрадки мои хранились на Соборной, и эти тетрадки и навели меня на удачный ответ.

— Повремените здесь, — сказал я, — сейчас я схожу за тетрадками, а то без своих тетрадок я не писатель.

Казаки повременили, а я, схватив тетрадки на Соборной, пустился на утек, и пробыл в засаде, пока им стало не до меня.

Но я чуть-чуть рановато покинул свое убежище: хотя основные войска Мамонтова покинули город, части войск грабили завод настоек и пьяные убивали евреев. Рановато я вышел на улицу. Приехали подводы с десятками вооруженных киргиз, меня приняли за еврея.

— Покажи крест!

Я показал паспорт.

— Читать не умею, давай крест!

Ах, тот крестик... Бабушка наша принесла этих крестиков множество и на всех надевала, но я отказался, и как ни уговаривала, этим способом спасаться не захотел.

— Давай крест! Нету?

— Нету.

— Давай часы!

И взял у меня часы. Другой взял пальто. Третий навел на меня винтовку.

Тогда вдруг оказалось, что умирать-то не очень и страшно, только вспомнились мне в это мгновенье тетрадки мои, и вдруг откуда-то пришла ко мне необычайная смелость.

— Хабар-бар! — крикнул я.

Это было единственное, что я знал по-киргизски.

Пьяница опустил винтовку, услыхав родное слово.

— Хабар-бар, негодяй! — заорал я на него, а хабар-бар означало по-киргизски что-то вроде нашего «здравствуй».

— Хабар-бар, мерзавец! — повторил я, приветливо ему улыбаясь.

— А чего тебе?

— Отдай часы.

Рядом с повозкой был верховой. Мои часы в это время перешли как-то к нему. Он взял мои черненькие часы, хлопнул их с высоты о камень и, вынув хорошие серебряные, дал их мне и сказал:

— Садись, поедем с нами.

— Якши, якши, — ответил я, — только подожди.

И стал словами и руками показывать им, что я писатель, что у меня тетрадки и что тут недалеко: вон тот дом. Сейчас возьму и вернусь. И повторяя «якши, якши», стал от них отходить, кланялся и отходил, и улыбался им, подлецам. А потом обернулся — и на утек. Да так и убежал.

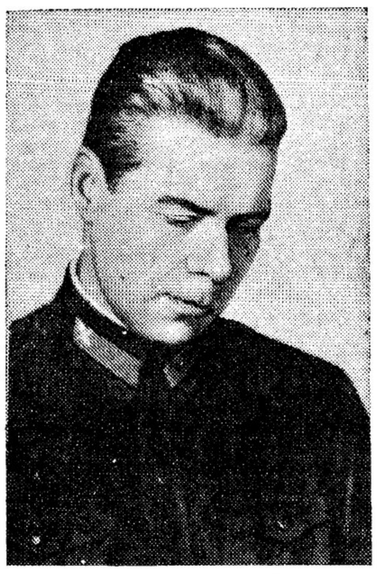
И вспоминая теперь этот случай, тоже записанный в тетрадь, понимаешь, что смелость в борьбе за жизнь мне пришла опять от тетрадок. Только не подумайте, что мне корысть была в сохранении этих тетрадок: прямой корысти тут никакой не было, и только сейчас, почти через сорок лет, один литературный музей предлагает мне за них очень скромную сумму. В том-то и дело, что тетрадками своими я дорожил не для какой-нибудь выгоды, а просто любил их, как люблю все свое ремесло, увлекательное, опасное и трудное.

Я начал свое ремесло с того, что, ничего не имея в кармане, отправился за сказками в тот край, где прошел теперь Беломорский канал, и даже мысли у меня не было, какая мне от этих сказок будет корысть. В то время писатели уже начинали терять связь с народом и брали слова больше из книг, чем из уст. Я же думал, что словесные богатства русского народа заключаются больше в устной словесности, чем в письменной. Еще я и так думал, что интересно слово не то, которое в книгах, а то, которое услышал сам из уст народа.

Бывало, не раз устанешь на охоте и заночуешь в лесу, и вот к твоему огоньку придет какой-нибудь человек, и тут у костра этот местный человек что-нибудь расскажет. Только через эти слова в лесу кажется, будто это сама природа о себе что-то сказала по-своему. А после вспомнится и то дерево, под которым развел теплинку, и тот ручей, который пел тебе всю ночь. До того мне с первого же раза полюбилось охотиться за такими словами, что однажды я собрал себе котомку ранней весной и вернулся только осенью: мне казалось, что всю весну и все лето я шел за колобком по волшебным северным лесам. А в городах, где деньги за слова платили, не за те, что свои, а за те, что по заказу, — там я редко появлялся. И много лет нужно мне было странствовать по лесам, ночевать у костров и подчас кормиться только удачливой охотой на птицу или зверя, чтобы наконец пришло то время, в какое живете вы и в какое я свободно печатаю вам свои сказки.

Да, многих из вас, мои друзья, тогда и на свете не было, когда я писателем делался, но мои тетрадки есть мое оправданье: они ответят вам, сколько жизни я бескорыстно отдавал в охоте за словами, определявшими мое ремесло. До того много жизни, что она во сне продолжается, и часто мне повторяется один и тот же сон о моих тетрадках. Мне видится, будто наступило время Страшного суда, точь-в-точь, как нас этим в детстве няньки пугали, будто пришло время — загорелся край неба и затрубили в трубу. Все ужасно спешат и превращаются в беженцев. Я успел в чемодан только тетрадки сложить и ужасно спешу на вокзал к от'езду на «тот свет». Вот прибежал, вижу — поезд тронулся. Чтобы вскочить, на ходу бросаю в открытую дверцу чемодан с тетрадками, а самому вот только бы вскочить, — откуда ни возьмись, кондуктор — хвать меня по руке: «На ходу вскакивать не разрешается!» И поезд уходит на тот свет с моими тетрадками, и все уезжают, и я остаюсь на земле, и вот горюю, вот горюю, не о том горюю, что на земле осталося, а о том, что без тетрадок моих не будет мне оправданья: тетрадки мои, только тетрадки хранят несгораемые слова. Жуткий сон повторяется, и не без смысла: я понимаю этот сон о несгораемых словах и страшном суде, как суд моей совести над делом жизни: хорошим ли мастером ты был, делал ли больше в своем мастерстве, чем это нужно только себе, — все равно — писатель ты или сапожник Цыганок из Марьиной рощи.

Приветствие ССП А. К. Виноградову



А. К. ВИНОГРАДОВ

Дорогой Анатолий Корнельевич!

Союз советских писателей шлет вам горячее приветствие по поводу 30-летия вашей творческой деятельности.

Крупнейшая ваша заслуга заключается в том, что вы являетесь одним из зачинателей жанра исторического романа в советской литературе. Ваши произведения, посвященные жизни и творчеству Стендаля, «Три цвета времени» и «Потерянная перчатка»; ваши романы «Черный консул», «Осуждение Паганини» пользуются широкой известностью в читательских кругах нашей страны и популярны за ее пределами.

В течение трех десятилетий вы являетесь переводчиком и пропагандистом литературного наследства, исследователем культурных связей между крупнейшими художниками Запада и писателями нашей родины.

Мы сердечно поздравляем вас с высокой наградой, которой вас удостоило правительство Союза, — орденом Трудового Красного Знамени, — и выражаем надежду, что эта награда воодушевит вас на новые творческие достижения.

ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

Декабрьские номера московских журналов

«КРАСНАЯ НОВЬ»

Большой литературный и документальный интерес представляет печатающийся в № 11—12 «Красной нови» неопубликованный дневник Л. Н. Толстого за 1881 год. Этот дневник, начатый писателем в апреле 1881 г. и заключающий ежедневные записи его наблюдений и впечатлений окружающей крестьянской жизни, был им задуман, как книга.

Во вступлении к дневнику Л. Н. Толстой пишет: «Я знаю, что мысль, если она настоящая, не пропадет и потому книгу я отложил; я знаю, что, если там есть настоящая мысль, то правда со дна моря выплывет, и труд мой, если в нем правда, не пропадет».

Из художественных произведений в этой книге «Красной нови» печатаются новое произведение Вл. Бахметьева «У порога» («Записки Никиты Глотова»), являющееся продолжением его романа «Наступление», рассказы Ванды Василевской, А. Эрлиха, В. Билль-Белоцерковского, очерки Леонида Соболева «Краснознаменная Балтика», стихи М. Исаковского, С. Васильева, П. Вячесловова, Н. Семынина (перевод из Токтогула).

«ЗНАМЯ»

Романом В. Гроссмана «Солдаты революции» открывается № 11—12 журнала «Знамя». Это вторая книга трилогии «Степан Кольчугин», в которой читатель встретится с основными героями первого тома. Действие происходит в 1914—1916 годах на фронте империалистической войны.

В этом же номере помещен один из новых эпизодов русско-японской войны, который войдет в перерабатываемое А. Новиковым-Прибоем издание «Цусимы». Кроме того, в разделе прозы печатаются рассказы С. Вашенцева «Первый концерт» — о судьбе одной польской певицы в дни войны, и «Налет» Хаджи Мурат Мугуева — эпизод из гражданской войны, в котором действует Маршал Советского Союза Кулик.

Поэзия представлена циклом стихотворений И. Эренбурга «Война в Европе» и стихами С. Щипачева и С. Олендера.

Около трети журнала занимают критико-публицистические материалы.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

К концу года редакция «Молодой гвардии» добилась своевременного выхода журнала. В ближайшие дни декабрьский номер будет разослан подписчикам.

В номере напечатано окончание второй книги романа А. Ноздрина — «Городок на Яузе», рассказ С. Голубева — «Черниговцы» (о восстании Черниговского полка в декабре 1825 г.), рассказ Дж. Стейнбека— «Налет», очерк В. Булгаковского — «Герои Балтики», описывающий боевые эпизоды из войны с белофиннами. В разделе поэзии опубликованы «Присказки» — А. Яшина и отрывок из поэмы «Лиза»—А. Гольдберга.

«НОВЫЙ МИР»

Первым [illegible] летчикам — Ефимову, Уточкину, Нестерову и другим — посвящен сценарий А. Трауберга и С. Тимошенко «Мертвая петля», печатающийся в последнем номере «Нового мира» за текущий год.

Журнал в этом же номере заканчивает печатание второй книги Антоновской «Великий Моурави» и записки капитана ледокола «Георгий Седов» К. Бадигина — о событиях исторического дрейфа.

Кроме того, помещены стихи В. Луговского, М. Исаковского, А. Когана, И. Молчанова, А. Гатова, рассказы Ванды Василевской, Ю. Окинчица, К. Левина, И. Арамилева и очерки Л. Коробова «На воздушных перекрестках» — записки авиационного репортера и др.

«ОКТЯБРЬ»

Двенадцатая книга «Октября» открывается стихами Джамбула «Родина моя» в переводе И. Сельвинского. Поэзия в номере представлена также стихами Адама Мицкевича «Пани Твардовская». Кроме того, напечатаны стихи А. Гатова—«Орел», С. Олендера — «Ушедший друг» и др.

В 12-й книге печатаются повесть Вл. Кристи «Беспалый», окончание повести В. Смирнова «Сыновья», окончание второй книжки Т. Семушкина «Чукотка» и заключительная часть статьи, посвященной сорокалетию литературной деятельности Сергеева-Ценского (автор Н. Замошкин). Публицистический материал в журнале представлен статьей А. Пальчунова «Новое в современной войне» (о танках) и Б. Галина «Жизненный опыт новаторов» (на материале книг Стаханова, Гудова, Бусыгина, Макара Мазая).

«30 ДНЕЙ»

В двойном, 11—12, номере журнала печатаются рассказы писателей старшего поколения и молодых новеллистов: «Монолог» Вс. Иванова, «Серьезный разговор» и «Вечер у Аньес» И. Эренбурга, «Вечный раб» Д. Бергельсона, «Старый механик» А. Платонова, рассказы на колхозные темы М. Грибачева, А. Левченко и «Охотничьи рассказы» В. Ананяна.

В отделе поэзии публикуются отрывки из «Витязя в тигровой шкуре» в новом переводе Ш. Нуцубидзе; «Письмо к русским» А. Мицкевича и стихи М. Рыльского, В. Луговского, М. Голодного, А. Суркова, Н. Брауна.

Редакционная коллегия: В. ВИШНЕВСКИЙ, А. КУЛАГИН (отв. редактор), В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ, М. ЛИФШИЦ, Е. ПЕТРОВ, Н. ПОГОДИН, А. ФАДЕЕВ.

РЕДАКЦИЯ: Москва, Последний пер., д. 26, телефоны отделов: современной литературы и критики, писем, искусств и публицистики, иностранного — К 4-46-19; информации — К 4-34-60; иллюстраций и секретариата — К 2-20-95.

Б14885. Типография издательства «Черная металлургия», Москва, Цветной бульвар, 30.